

Юай Чоксахват



Чужой свет

18+

Юай Чоксахват

Чужой свет

«Автор»

2026

Чоксахват Ю.

Чужой свет / Ю. Чоксахват — «Автор», 2026

Он возвращается после долгого отсутствия — тихий, внимательный, неожиданно прямой в мире, где принято прятать чувства за иронией. Его называют странным, слишком мягким, неудобным для светских игр. Вокруг — деньги, сплетни, браки по расчёту и люди, которые боятся честности сильнее скандала. Он пытается помочь, не разрушая, и каждый раз платит за это чужой болью и собственной наивностью. «Чужой свет» — роман о доброте, которая не спасает мир, но заставляет увидеть его настоящим.

© Чоксахват Ю., 2026

© Автор, 2026

Юай Чоксахват

Чужой свет

Чужой свет
Yuai Choksahwat
Серия «Книга времени»

ОТРЫВОК ПЕРВЫЙ

I.

В начале декабря, когда оттепель уже всю хозяйничала, около половины девятого утра скорый поезд, следовавший по маршруту Москва-Брест, приближался к столице. Стояла такая промозглая сырость и густой туман, что рассвет едва пробивался сквозь мглу; уже в нескольких метрах от полотна железной дороги, по обе стороны, из окон вагонов невозможно было различить ни единого предмета. Среди пассажиров встречались те, кто возвращался из-за рубежа, но большая часть вагонов была заполнена людьми третьего класса – в основном, мелкими торговцами и командировочными, ехавшими не издалека. Все, как это обычно бывает, изрядно утомились, у всех за ночь покраснели глаза, все продрогли до костей, и лица у всех приобрели землисто-желтый оттенок, словно сливаясь с цветом тумана за окном.

В полупустом вагоне пригородной электрички, едва забрезжил рассвет, напротив друг друга оказались два пассажира. Оба молодые, без багажа, одеты скромно, но с примечательной внешностью. Вскоре они обменялись первыми фразами. Зная они заранее, что каждого из них делает особенным в этот момент, наверняка удивились бы странному стечению обстоятельств, посадившему их напротив в вагоне эконом-класса поезда Москва-Тверь.

Один из них, невысокий, лет двадцати восьми, с кудрявыми, почти черными волосами, смотрел на мир серыми, пронзительными глазами. Нос широкий, немного приплюснутый, скулы выдающиеся. Тонкие губы постоянно складывались в циничную, насмешливую, даже злобную ухмылку. Но высокий, хорошо очерченный лоб смягчал грубоватые черты нижней части лица. Особенно выделялась мертвенная бледность, придававшая лицу изможденный вид, несмотря на крепкое телосложение. В этом облике чувствовалась какая-то страсть, граничащая со страданием, диссонирующая с дерзкой ухмылкой и самоуверенным взглядом. Он был тепло одет в просторный черный пуховик, так что ночной холод не беспокоил его, в отличие от соседа, вынужденного прочувствовать на себе все прелести сырой ноябрьской ночи, к которой он явно не был готов. На нем была широкая, толстая куртка без рукавов, с огромным капюшоном, какие часто носят путешественники зимой где-нибудь в Европе, например, в Австрии или Германии, не рассчитывая, конечно, на такие перепады температур по дороге, как от Бреста до Москвы. То, что годилось и вполне устраивало в Европе, оказалось не совсем подходящим для России.

Обладатель куртки с капюшоном был молодой человек, тоже лет двадцати шести-двадцати семи, ростом чуть выше среднего, светловолосый, с густой шевелюрой, впалыми щеками и небольшой, острой, почти белой бородкой. Глаза большие, голубые и внимательные. Во взгляде было что-то спокойное, но тяжелое, что-то полное странного выражения, по которому некоторые с первого взгляда угадывают у человека склонность к приступам. Лицо молодого человека было, впрочем, приятное, худое и тонкое, но бесцветное, а сейчас и вовсе посиневшее от холода. В руках он держал небольшой потрепанный рюкзак, казалось, содержащий все его дорожное имущество. На ногах – ботинки на толстой подошве, не совсем в русском стиле. Черноволосый сосед в пуховике все это разглядел, отчасти от скуки, и, наконец, спросил с той бестактной ухмылкой, в которой так бесцеремонно и небрежно выражается людское удовольствие при чужих неудачах:

– Замерз? – и пожал плечами.

– Очень, – ответил сосед с готовностью, – и учтите, сейчас еще оттепель. Что было бы, если бы мороз? Я даже не думал, что у нас так холодно. Отвык.

– Из-за границы, что ли?

– Да, из Германии.

– Ого! Ну вы даете...

Темноволосый хмыкнул и расхохотался.

Завязался разговор. Готовность светловолосого парня в дорогой куртке отвечать на любые вопросы своего смуглого соседа была поразительной, без тени смущения, невзирая на нелепость и бессмысленность некоторых из них. Отвечая, он обмолвился, что действительно долго отсутствовал в России, более четырех лет, что был отправлен за границу из-за болезни, какого-то странного нервного расстройства, вроде эпилепсии или хорей, каких-то дрожаний и судорог. Слушая его, смуглый несколько раз усмехнулся; особенно громко он захохотал, когда на вопрос: "Ну и, вылечили?" – светловолосый ответил, что "Нет, не вылечили".

– Эх! Денег, наверное, зря переплатили, а мы-то им тут верим, – язвительно заметил смуглый.

– Чистая правда! – встрял в разговор сидевший рядом плохо одетый мужчина, нечто вроде заскорузлого канцелярского работника, лет сорока, крепкого телосложения, с красным носом и угреватым лицом. – Чистая правда, только русские ресурсы зря переводят!

– О, как вы в моем случае ошибаетесь, – подхватил пациент, тихим и примирительным тоном. – Конечно, я спорить не могу, потому что всего не знаю, но мой доктор мне из своих последних еще на дорогу сюда дал, да почти два года там за свой счет содержал.

– Что, некому платить, что ли, было? – спросил смуглый.

– Да, господин Игнатов, который меня там содержал, два года назад скончался; я писал потом сюда генеральше Кузнецовой, моей дальней родственнице, но ответа не получил. Так с тем и приехал.

– Куда же приехали-то?

– То есть, где останюсь?.. Да не знаю еще, право... так...

– Еще не решили?

И оба слушателя снова расхохотались.

– И небось в этом рюкзаке вся ваша суть заключается? – спросил темноволосый.

– Готов поспорить, что так, – подхватил с чрезвычайно довольным видом красноносый чиновник, – и что дальнейшей поклажи в багажном отделении не имеется, хотя бедность и не порок, чего опять-таки нельзя не заметить.

Оказалось, что и это было правдой: светловолосый молодой человек тотчас же и с необыкновенной поспешностью в этом признался.

– Рюкзак ваш все-таки имеет некоторое значение, – продолжал чиновник, когда нахохотались вдоволь (примечательно, что и сам обладатель рюкзака начал, наконец, смеяться, глядя на них, что увеличило их веселость), – и хотя можно поспорить, что в нем не спрятаны золотые, заграничные слитки с евро и долларами, ниже с биткоинами, о чем можно судить хотя бы только по кроссовкам, облегаяющим ваши иностранные ноги, но... если к вашему рюкзаку прибавить в придачу такую будто бы родственницу, как, например, генеральша Кузнецова, то и рюкзак примет некоторое иное значение, разумеется, в том только случае, если генеральша Кузнецова вам действительно родственница, и вы не ошибаетесь, по рассеянности... что очень и очень свойственно человеку, ну хоть... от избытка фантазии.

– О, вы снова попали в точку, – подхватил светловолосый парень, – ведь она почти не родственница, почти чужая. До такой степени, что я ни капли не удивился, когда мне не ответили. Я этого ждал.

– Зря деньги на конверт потратили. Гм... по крайней мере, наивны и искренни, это похвально! Гм... генерала Кольцова знаем, человек известный. И покойного Игната Петровича, который вас в Швейцарии содержал, тоже знали, если это был именно Игнат Петрович, потому что их два двоюродных брата. Один сейчас в Крыму, а Игнат Петрович был человек уважаемый, со связями, и четыре тысячи гектаров земли имел...

– Именно так, его звали Игнат Петрович, – ответил парень, внимательно оглядывая всезнайку.

Такие всезнайки встречаются довольно часто в определенных кругах. Они все знают, их беспокойный ум неудержимо стремится в одну сторону, за неимением более важных интересов, как сказал бы современный философ. Под словом "все знают" подразумевается область довольно узкая: где работает такой-то? С кем знаком, сколько у него денег, где был мэром, на ком женат, сколько приданного получил, кто ему двоюродный брат, кто троюродный и так далее. Чаще всего эти всезнайки ходят в поношенной одежде и получают тридцать тысяч в месяц. Люди, о которых они знают все, не представляют, что ими движет. А между тем, многие из них этим знанием, равным целой науке, утешаются, достигают самоуважения и духовного удовлетворения. Это наука соблазнительная. Я видел ученых, писателей, политиков, находящихся в ней высший смысл и делающих карьеру. Во время разговора смуглый парень зевал, смотрел в окно и ждал конца поездки. Он был рассеян, встревожен, странен: слушал и не слушал, смотрел и не смотрел, смеялся и не помнил, чему смеялся.

– Простите, с кем имею честь? – обратился прыщавый мужчина к светловолосому парню с сумкой.

– Князь Кирилл Львович Соболев, – ответил тот сразу.

– Князь Соболев? Кирилл Львович? Не знаю. Не слышал, – ответил чиновник, – не об имени говорю, имя известное, в интернете найти можно, а о человеке. Князей Соболевых сейчас не встретишь.

– Да ладно! – живо откликнулся Арсений. – Ивановых-Суховых сейчас почти не осталось, кроме меня, кажется, я последний. А предки наши всякими были, и крестьянами тоже. Отец, правда, дослужился до старшего лейтенанта, из училища вышел. И вот, представьте, Антонина Петровна Белозерская тоже из Ивановых-Суховых, тоже последняя в своем роде...

– Ха-ха-ха! Последняя в своем роде! Ха-ха! Как вы это завернули, – захихикал клерк.

Смуглый тоже усмехнулся. Арсений немного удивился, что у него вышло сказать довольно, хотя и не очень, остроумно.

– Представляете, я совсем не думал, когда говорил, – объяснил он, наконец, удивленно.

– Да понятно, понятно, – бодро поддакнул чиновник.

– А вы, Арсений, учились чему-нибудь там, у профессора? – вдруг спросил смуглый.

– Да... учился...

– А я вот ничему толком не учился.

– Да я тоже так, кое-как, – добавил Арсений, почти извиняясь. – Меня из-за болезни не могли нормально учить.

– Сидоровых знаете? – быстро спросил смуглый.

– Нет, не знаю совсем. Я ведь в России мало кого знаю. Это вы Сидоров?

– Да, я Сидоров, Кирилл.

– Кирилл? Это не те ли самые Сидоровы... – начал было с напускной важностью чиновник.

– Да, те, те самые, – быстро и с невежливым нетерпением перебил его смуглый, который вообще не обращал внимания на прыщавого клерка, а с самого начала говорил только с Арсением.

– Да... как же это? – удивился до крайности и чуть не вытаращил глаза чиновник, у которого все лицо сразу стало выражать что-то благоговейное, подобострастное и даже испу-

ганное. – Это того самого Семена Кирилловича Сидорова, потомственного почетного гражданина, который месяц назад умер и два с половиной миллиона оставил?

– А ты откуда знаешь, что он два с половиной миллиона чистыми оставил? – перебил смуглый, не удостоив и на этот раз взглянуть на чиновника. – Ишь ведь! (подмигнул он Арсению), и что им с того, что они сразу в прихвостни лезут? А это правда, что вот отец мой умер, а я из Твери через месяц чуть ли не босиком домой еду. Ни брат-мерзавец, ни мать ни денег, ни сообщения – ничего не прислали! Как псу! В бреду в Твери весь месяц пролежал.

– А теперь миллиончик с лишним сразу получить придется, и это, по крайней мере, о, господи! – всплеснул руками чиновник.

– Ну чего ему, скажите пожалуйста! – раздраженно и злобно кивнул на него опять Кирилл. – Ведь я тебе ни копейки не дам, хоть ты тут кувыркайся передо мной.

– И буду, и буду кувыркаться.

– Вишь! Да ведь не дам, не дам, хоть целую неделю пляши!

– И не давай! Так мне и надо; не давай! А я буду плясать. Жену, детей малых брошу, а перед тобой буду плясать. Польсти, польсти!

– Да чтоб тебя! – харкнул чернявый. – Пять недель назад я, как и ты, – повернулся он к князю, – с одним рюкзаком от отца из Твери к сестре рванул. Там свалился с температурой, а он без меня и помер. Инфаркт его скрутил. Царствие небесное, а меня чуть до смерти не забил! Верись, князь, вот те крест! Не сбежал бы тогда, точно бы убил.

– А чем вы его так разозлили? – спросил князь, с особым интересом разглядывая миллионера в пуховике. И хотя в самом миллионе и в получении наследства было что-то примечательное, князя удивило и заинтересовало еще кое-что. Да и сам Родион почему-то охотно выбрал князя в собеседники, хотя нуждался в общении, казалось, больше машинально, чем душевно. Скорее от рассеянности, чем от искренности, от тревоги, от волнения, чтобы просто на кого-то смотреть и языком молотить. Казалось, он все еще в бреду, или, по крайней мере, в ознобе. Что же до клерка, так тот просто прилип к Родионову, дышать боялся, ловил и взвешивал каждое слово, будто искал бриллианты.

– Разозлился, да, может, и по делу, – ответил Родион, – но меня больше всего брат достал. Про мать нечего сказать, женщина старая, "Спас" смотрит, с бабками сидит, и как Борька-брат решит, так тому и быть. А он что же мне вовремя не сообщил? Понятно! Хотя, правда, я тогда в отключке был. Говорят, телегу отправили. Да телега-то к сестре и пришла. А она там тридцать лет в разводе и все с юридическими сидит с утра до ночи. Монашка не монашка, а еще хуже. Телеграммы она испугалась и, не читая, в МФЦ отнесла, так она там и лежит до сих пор. Только Конев, Василий Васильевич, помог, все переписал. С покрывала бархатного на гробу отца, ночью, брат кисти литые, золотые, срезал: "Они, мол, во какие деньги стоят". Да ведь он за это одно в тюрьму сесть может, если я захочу, потому что это осквернение. Эй ты, чучело огородное! – обратился он к клерку. – Как по закону: осквернение?

– Осквернение! Осквернение! – тут же поддакнул клерк.

– За это в тюрьму?

– В тюрьму, в тюрьму! Сразу в тюрьму!

– Они все думают, что я еще больной, – продолжал Родион князю, – а я, молча, еще больной, сел в такси, да и еду. Открывай ворота, братец Семен Семеныч! Он отцу покойному на меня наговаривал, я знаю. А что я, правда, из-за Вероники Филипповны тогда отца разозлил, так это правда. Тут уж я сам виноват. Бес попутал.

– Из-за Вероники Филипповны? – подобострастно пробормотал клерк, будто что-то соображая.

– Да ведь не знаешь! – крикнул на него Родион в нетерпении.

– Да и знаю! – победоносно ответил клерк.

– Эвона! Да мало ли Вероник Филипповн! И какая ты наглая, я тебе скажу, сволочь! Ну, вот так и знал, что какая-нибудь вот этакая тварь тут же и прилипнет! – продолжал он князю.

– А может, и в курсе! – засуетился клерк. – Ляхов в теме! Вы, уважаемый, зря на меня наезжаете, а вдруг я докажу? Да, та самая Инна Филипповна, из-за которой ваш папаша хотел вас отлупить, а Инна Филипповна – это же Баранова, можно сказать, даже дама из высшего общества, ну, почти княгиня, и якшается с неким Зотовым, с Афанасием Петровичем, таким себе землевладельцем и олигархом, членом советов директоров и фондов, и тесно сотрудничает по этим вопросам с генералом Епанчиковым...

– Ни фиги себе! Да ты... – наконец-то искренне удивился Рогожин. – Блин, да он реально в теме.

– Ляхов в курсе всего! Я, уважаемый, с Лихачевым Сашкой два месяца мотался, тоже после смерти отца, и все, ну, то есть, все значные места и закоулки знаю, и без Ляхова, дошло до того, что никуда. Сейчас он в коллекторском агентстве работает, а тогда и Арман, и Каролину, и княгиню Пацкую, и Инну Филипповну имел возможность узнать, да и много чего еще.

– Инну Филипповну? А разве она с Лихачевым... – злобно посмотрел на него Рогожин, даже губы его побелели и задрожали.

– Н-ничего! Н-н-ничего! Вообще ничего! – спохватился и затараторил клерк. – Н-никакими, то есть, деньгами Лихачев не мог ее заинтересовать! Нет, это не то, что Арман. Тут один Зотов. Да вечером в Большом или в каком-нибудь частном клубе в своей вип-ложе сидит. Офицеры там мало ли что между собой болтают, а и те ничего не могут подтвердить: "вот, мол, это та самая Инна Филипповна", и все, а насчет остального – ничего! Потому что и нет ничего.

– Да, все так, как ты говоришь, – мрачно подтвердил Руслан, нахмурившись. – Мне то же самое и Вадим говорил. Я тогда, князь, в старом отцовском пуховике через Тверскую бежал, а она из ЦУМа выходит, в "Майбах" садится. Меня как током прошибло. Встречаю Вадима, а он – не чета мне, ходит как менеджер из барбершопа, с айкосом в зубах, а мы у отца в кирзачах да на пустой гречке выросли. "Это, – говорит, – не для тебя, это, – говорит, – бизнес-леди, зовут ее Вероника Филипповна, фамилия Баранова, и живет с Игнатовым, а тот от нее избавиться не знает как, потому что совсем уже в возрасте, пятьдесят пять стукнуло, и жениться на первой красавице Москвы хочет". Тут он мне и подсказал, что сегодня же можешь Веронику Филипповну в Большом увидеть, на опере, в ложе ее, в бельэтаже, будет сидеть. А у нас, у отца, попробуй в оперу сходить – сразу скандал, убьет! Я, однако, на час тайком сбежал и Веронику Филипповну снова увидел; всю ночь не спал. Утром отец дает мне два депозита, по пять миллионов каждый, сходи, мол, продай, да семь с половиной миллионов в "Альфу" отнеси, заплати, а остаток с десяти миллионов, никуда не заходя, мне верни; буду ждать. Депозиты я продал, деньги взял, а в "Альфу" не пошел, а пошел, куда глаза глядят, в "Mercury", да на все бабки два кулона и выбрал, с бриллиантами, почти как грецкие орехи, четыреста тысяч должен остался, имя назвал, поверили. С кулонами я к Вадиму: "Так и так, идем, брат, к Веронике Филипповне". Пошли. Что у меня тогда под ногами, что передо мной, что вокруг – ничего не помню. Прямо к ней в пентхаус вошли, она сама вышла к нам. Я, то есть, не сказал, что это я самый и есть; а Вадим: "От Руслана, мол, Баранова, в память о встрече вчерашней; примите". Она открыла, посмотрела, усмехнулась: "Поблагодарите, говорит, вашего друга Руслана за его любезность", поклонилась и ушла. Ну, зачем я тогда не умер! Да если и пошел, то потому, что думал: "Все равно, живым не вернусь!" А обиднее всего мне показалось, что этот гад Вадим все себе присвоил. Я и ростом мал, и одет как курьер, стою, молчу, на нее глазами сверлю, потому что стыдно, а он – по последней моде, в "Diog", напомаженный, завитой, румяный, галстук от "Briopi", так и рассыпается в комплиментах, и, наверно, она его вместо меня приняла! "Ну, – говорю, как вышли, – ты у меня теперь тут даже не думай, понял?" Смеется: "А как ты теперь Семену Парфеновичу отчитываться будешь?" Я, правда, хотел сразу в Москву-реку, домой не заходя, да думаю: "Уже все равно", и как проклятый вернулся домой.

– Эх! Ух! – скривился чиновник, и даже дрожь его пробрала. – Да покойник не то что за десять миллионов, а за десять тысяч рублей на тот свет удавиться был готов, – кивнул он князю.

Кирилл с интересом изучал лицо Егорова; казалось, тот стал еще мрачнее.

– Откупился! – перебил Егоров. – Откуда знаешь? Мигом, – продолжал он, обращаясь к Кириллу, – все разведал, да еще и Борзов каждому встречному растрезвонил. Запер меня отец наверху, отчитал по полной. "Это, говорит, пока только подготовка, а ночью еще приду попрощаться". И что ты думаешь? Поехал старый хрен к Веронике Филипповне, в ноги ей кланялся, умолял и плакал; вынесла она ему, в конце концов, шкатулку, швырнула: "Вот, говорит, тебе, старый козел, твои цапки, а они мне теперь в десять раз дороже, раз уж их из-под такого шухера Егор доставал. Кланяйся, говорит, и благодари Егора Семеновича". А я тем временем, с маминского благословения, у Сереги Протушина двадцать тысяч вымутил, да в Тверь на BlaBlaCar и рванул, да приехал в бреду; меня там бабки молитвами отпаивать принялись, а я сижу пьяный, да пошел потом по барам последние деньги спускать, да в отключке всю ночь на улице и провалялся, а к утру температура под сорок, да еще за ночь собаки покусали. Еле оклемался.

– Ну-с, ну-с, теперь запоет у нас Вероника Филипповна! – потирая руки, захихикал чиновник. – Теперь, сударь, что там подвески! Теперь мы такие компенсации выплатим...

– А то, если ты хоть раз про Веронику Филипповну что-то вякнешь, то, клянусь богом, отмутужу, несмотря на то, что ты с Лихачевым катаешься, – заорал Егоров, крепко схватив его за руку.

– А если отмутузишь, значит, и не отвергнешь! Бей! Отмутузил, и тем самым закрепил... А вот и приехали!

Действительно, подъезжали к вокзалу. Хотя Егоров и говорил, что уехал тихо, его уже ждали несколько человек. Они кричали и махали ему руками.

– Ишь, и Борзов тут! – пробормотал Егоров, глядя на них с торжествующей и даже злобной ухмылкой, и вдруг повернулся к Кириллу: – Кирилл, не знаю, за что я тебя полюбил. Может, потому, что в такую минуту встретил, да вот ведь и его встретил (он указал на Лебедева), а ведь не полюбил же его. Приходи ко мне, Кирилл. Мы эти кроссовки с тебя снимем, одену тебя в норковую шубу, самую крутую; костюм тебе закажу от Gucci, жилетку белую, или какую захочешь, денег полные карманы набью и... поедем к Веронике Филипповне! Придешь, или нет?

– Внимайте, Кирилл Николаевич! – внушительно и торжественно подхватил Лебедев. – Ой, не упускайте! Ой, не упускайте!..

Кирилл поднялся, вежливо протянул Егорову руку и любезно сказал:

– С огромным удовольствием приду и очень вас благодарю за то, что вы меня полюбили. Даже, может быть, сегодня же приду, если успею. Потому, я вам скажу откровенно, вы мне сами очень понравились и особенно, когда про компенсации рассказывали. Даже и прежде компенсаций понравились, хотя у вас и лицо такое угрюмое. Благодарю вас тоже за обещанную мне одежду и за шубу, потому мне действительно одежда и шуба скоро понадобятся. Денег же у меня сейчас почти ни копейки нет.

– Деньги будут, к вечеру будут, приходи!

– Обязательно будут, непременно будут, – подхватил госслужащий, – еще до наступления темноты!

– А к дамам, князь, у вас интерес большой? Говорите сразу!

– Д-д-да нет! Я ведь... Вы, возможно, не в курсе, я из-за врожденного недуга с женщинами вообще не знаком.

– Ну, раз так, – воскликнул Рогожин, – совсем ты, князь, как блаженный, и таких, как ты, господь жалует!

– Таких господь жалует, – повторил чиновник.

– А ты за мной, строка, – приказал Рогожин Лебедеву, и все покинули вагон.

Лебедев добился своего. Вскоре шумная компания двинулась в сторону Вознесенского проспекта. Князю же нужно было идти к Литейной. Было промозгло и сыро; князь поинтересовался у прохожих, – до нужного ему адреса оставалось около трех километров, и он принял решение взять такси.

II.

Генерал-майор в отставке, Аркадий Петрович Зубов, проживал в собственном особняке, чуть поодаль от проспекта Энгельса, ближе к парку Сосновка. Помимо этого дома, значительную часть которого он сдавал в аренду, Зубов владел еще одним крупным зданием на улице Рубинштейна, приносящим стабильный доход. Вдобавок к этим двум объектам недвижимости, у него имелось прибыльное поместье в окрестностях Репино, а также небольшая фабрика в районе Кудрово.

В прошлом, как многие помнили, генерал Зубов занимался поставками продовольствия для армии. Теперь он активно участвовал и обладал влиятельным голосом в нескольких крупных инвестиционных фондах. Его репутация – человек с солидным капиталом, обширными деловыми связями и множеством проектов. В определенных кругах он стал практически незаменимым, в том числе и благодаря своим прошлым заслугам.

При этом всем было известно, что Аркадий Петрович Зубов – человек без высшего образования, выходец из семьи прапорщика; факт, который, безусловно, говорил в его пользу. Однако генерал, будучи человеком неглупым, не был лишен маленьких, вполне простительных слабостей и не любил, когда ему об этом напоминали. Но умным и проницательным человеком он, безусловно, являлся. Он придерживался стратегии не выделяться там, где нужно оставаться в тени, и многие ценили его именно за скромность, за умение знать свое место.

Если бы только эти судьи знали, что творилось порой в душе у Аркадия Петровича, так хорошо знавшего свое место! Несмотря на его богатый жизненный опыт и выдающиеся способности, он предпочитал представлять себя скорее исполнителем чужих идей, чем человеком со своим мнением, "беззаветно преданным" – куда катится мир? – даже русским и душевным. В связи с последним у него даже случались забавные истории; но генерал никогда не терял присутствия духа, даже в самых нелепых ситуациях. К тому же ему всегда везло, даже в картах, в которые он играл по-крупному и даже намеренно не скрывал эту свою маленькую слабость, которая во многих случаях оказывалась весьма полезной, а наоборот, выставлял ее напоказ. Круг его общения был, разумеется, весьма разношерстным, во всяком случае, "элитным". Но все еще было впереди, время шло, время все расставляло по своим местам, и все должно было прийти со временем и своим чередом.

Да и годами генерал Зубов был еще, как говорится, в самом расцвете сил, то есть пятидесяти семи лет, не больше, что, безусловно, является прекрасным возрастом, возрастом, с которого по-настоящему начинается настоящая жизнь. Здоровье, свежий цвет лица, крепкие, хотя и немного пожелтевшие зубы, коренастое, крепкое телосложение, озабоченное выражение лица по утрам на совещаниях, веселое по вечерам за покером или в гостях у влиятельных персон – все способствовало его нынешним и будущим успехам и устило жизнь его превосходительства розами.

Генерал Аркадий Петрович гордился своей семьей, хотя и понимал, что не все в ней идеально. Но именно в семье он видел главный смысл жизни, источник надежд и стимул двигаться вперед. Что может быть важнее и священнее родительских целей? К чему еще привязаться сердцем, как не к семье? Семья генерала состояла из жены и трех взрослых дочерей. Аркадий Петрович женился рано, еще будучи старшим лейтенантом, на девушке практически его возраста, не отличавшейся ни красотой, ни особым образованием. Приданое ее составляло всего пятьдесят душ крепостных, но именно они стали фундаментом его дальнейшего благосостояния. Впрочем, генерал никогда не жалел о раннем браке, не считал его ошибкой молодости. Жену он уважал, а порой даже побаивался, что, в сущности, было проявлением любви.

Супруга генерала, Антонина Львовна, происходила из древнего, хотя и не слишком знатного княжеского рода Замятиных. Свое происхождение она ценила превыше всего. В свое время один влиятельный чиновник, из тех, кому ничего не стоило оказать покровительство, проявил интерес к браку молодой княжны. Он открыл двери перед молодым офицером, дал ему шанс, которым тот не преминул воспользоваться. За редкими исключениями, супруги прожили долгую и счастливую жизнь. Еще в юности Антонина Львовна, благодаря своему происхождению и личным качествам, сумела найти себе влиятельных покровительниц. Позже, когда ее муж достиг богатства и высокого положения, она чувствовала себя в высшем обществе вполне уверенно.

В последние годы все три дочери полковника, Александра, Алина и Антонина, расцвели и стали настоящими красавицами. Формально, они были только дочерьми полковника Соколова, но по материнской линии происходили из старинного дворянского рода, имели приличное состояние, а отец, возможно, в будущем займет высокий пост. И, что немаловажно, все три были невероятно привлекательны, даже старшая, Александре, уже исполнилось двадцать шесть. Средней, Алине, было двадцать четыре, а младшей, Антонине, недавно исполнилось двадцать один. Эта младшая была настоящей красавицей и уже привлекала внимание в обществе. Но и это еще не все: все три отличались прекрасным образованием, острым умом и разнообразными талантами. Было известно, что они очень дружны и поддерживают друг друга. Ходили слухи, что старшие сестры даже чем-то жертвовали ради благополучия младшей, считая ее своего рода домашним идиолом. В обществе они не любили выставляться, даже были излишне скромны. Никто не мог обвинить их в высокомерии или надменности, хотя все знали, что они гордятся собой и знают себе цену. Старшая увлекалась музыкой, средняя была талантливейшей художницей, но об этом почти никто не знал, и это обнаружилось совсем недавно и случайно. В общем, о них говорили много хорошего. Но, конечно, были и завистники. С ужасом шептались о том, сколько книг они прочитали. Замуж они не спешили; хотя и ценили свой круг общения, но не слишком дорожили им. Это было тем более удивительно, что всем были известны амбиции, характер и цели их отца.

Было уже около одиннадцати утра, когда Кирилл позвонил в квартиру полковника. Полковник жил на третьем этаже и занимал довольно скромную квартиру, хотя и соответствующую его положению. Кириллу открыл дверь швейцар, который с самого начала посмотрел на него и на его рюкзак с подозрением. Наконец, после неоднократных и настойчивых заявлений, что он действительно Кирилл Белов и что ему необходимо видеть полковника по важному делу, недоумевающий швейцар проводил его в небольшую прихожую перед приемной и кабинетом и передал его другому человеку, дежурившему по утрам в этой прихожей и докладывавшему полковнику о посетителях. Этот человек был в строгом костюме, ему было около сорока лет, у него было озабоченное лицо, и он был личным помощником полковника, поэтому знал себе цену.

– Подождите в приемной, а рюкзак оставьте здесь, – произнес он неторопливо и важно, усаживаясь в свое кресло и с удивлением рассматривая Кирилла, который расположился рядом с ним на стуле, держа рюкзак в руках.

– Если позволите, – сказал Кирилл, – я бы лучше подождал здесь с вами, а то что мне там одному?

– В прихожей вам не положено находиться, потому что вы посетитель, то есть гость. Вы к самому полковнику?

Помощник, видимо, не мог смириться с мыслью о том, чтобы впустить такого посетителя, и решил еще раз уточнить.

– У меня... дело, – начал было Ярослав.

– Я не спрашиваю, какое именно, – отрезал швейцар. – Моя работа – о вас доложить. А без секретаря, как я уже сказал, докладывать не стану.

Подозрительность этого человека, казалось, росла с каждой секундой. Ярослав явно не вписывался в категорию обычных посетителей. Генерал, конечно, принимал людей часто, почти ежедневно, особенно по рабочим вопросам, и порой самых разных. Но, несмотря на привычку и довольно широкие инструкции, швейцар пребывал в глубоком сомнении. Посредничество секретаря для доклада казалось необходимым.

– Вы точно... из-за границы? – невольно вырвалось у него, и он запнулся. Хотел, наверное, спросить: «Вы точно Ярослав?».

– Да, только что из вагона. Мне кажется, вы хотели спросить, точно ли я Ярослав? Но не спросили из вежливости.

– Гм... – промычал удивленный швейцар.

– Уверю вас, я вам не соврал, и вам за меня отвечать не придется. А что я в таком виде и с сумкой, так тут удивляться нечему: сейчас мои обстоятельства скромные.

– Гм. Я не этого опасуюсь, видите ли. Доложить я обязан, и к вам выйдет секретарь, если только вы... Вот в чем вопрос, если только вы... Вы ведь не по бедности к генералу проситесь, осмелюсь спросить?

– О, нет, будьте совершенно уверены. У меня другое дело.

– Извините, но я, глядя на вас, спросил. Подождите секретаря, он сейчас занят с полковником, а потом придет... компанейский.

– Тогда, если долго ждать, я бы вас попросил: нельзя ли где-нибудь здесь покурить? У меня трубка и табак с собой.

– По-ку-рить? – с презрительным недоумением вскинул на него глаза швейцар, словно не веря своим ушам. – Курить? Здесь вам нельзя курить, и вам должно быть стыдно даже думать об этом. Хе... чудно!

– О, я ведь не в этой комнате просил. Я ведь знаю. Я бы вышел куда-нибудь, где вы укажете, потому что я привык, а уже часа три не курил. Впрочем, как вам угодно. И, знаете, есть пословица: в чужой монастырь...

– Ну как я о вас таком доложу? – пробормотал почти невольно швейцар. – Во-первых, вам здесь и находиться не следует, а сидеть в приемной, потому что вы на линии посетителя, иначе – гость, и с меня спросят... Да вы что же, у нас жить, что ли, намерены? – добавил он, еще раз покосившись на сумку Ярослава, которая явно не давала ему покоя.

– Нет, не думаю. Даже если бы и пригласили, не останусь. Я просто познакомиться приехал, и больше ничего.

– Как? Познакомиться? – с удивлением и утроенной подозрительностью спросил швейцар. – Как же вы сказали сначала, что по делу?

– О, почти не по делу! То есть, если хотите, и есть одно дело, так только совета спросить. Но главное – представиться, потому что я Ярослав, а генеральша Епанчина – тоже последняя из княжон их, и кроме меня с ней их больше нет.

– Так вы еще и родственник? – встрепенулся почти испуганный лакей.

И почти никто. Ну, если очень постараться, то дальние родственники, настолько дальние, что и родством-то это назвать сложно. Однажды я писал письмо генеральше за границу, но она не ответила. По возвращении я все же решил возобновить попытки. Я вам это рассказываю, чтобы вы не сомневались, вижу, что вы все еще беспокоитесь. Доложите, что пришел князь, и из самого доклада станет ясна цель моего визита. Примут – хорошо, не примут – тоже, может быть, неплохо. Но, кажется, не могут не принять: генеральша, конечно, захочет увидеть старшего и единственного представителя их рода, а она очень ценит свою родословную, как я слышал.

Казалось бы, разговор князя был предельно прост, но чем проще он был, тем нелепее звучал в данной ситуации. Опытный дворецкий не мог не почувствовать что-то, что уместно в общении между равными, но совершенно неуместно в разговоре гостя и слуги. А поскольку

люди гораздо умнее, чем о них думают их хозяева, дворецкому пришло в голову, что тут два варианта: либо князь – какой-нибудь проходимец, пришедший просить денег, либо он просто дурачок, лишенный амбиций. Умный князь, даже без амбиций, не стал бы сидеть в приемной и обсуждать свои дела с лакеем. И в том, и в другом случае, не придется ли ему потом отвечать за последствия?

– Все же, вам лучше пройти в приемную, – заметил он как можно настойчивее.

– Да если бы я там сидел, я бы вам всего не объяснил, – весело засмеялся князь, – а вы бы все еще беспокоились, глядя на мой плащ и рюкзак. А теперь вам, может, и секретаря ждать не нужно, а можно пойти и доложить самому.

– Я посетителей вроде вас без доклада секретарю не могу проводить. К тому же, вам же самим велено никого не беспокоить, пока там полковник, а Гавриил Ардалионович проходит без доклада.

– Чиновник?

– Гавриил Ардалионович? Нет. Он в компании работает, сам на себя. Рюкзак-то поставьте хоть сюда.

– Я уже думал об этом. Если позволите. И знаете, я сниму плащ?

– Конечно, не в плаще же к ней входить.

Князь встал, быстро снял плащ и остался в довольно приличном и хорошо сшитом, хотя и поношенном пиджаке. На жилете висела стальная цепочка. На цепочке оказались швейцарские серебряные часы.

Хотя князь и дурачок, – лакей это уже решил, – но все же генеральскому дворецкому показалось неприличным продолжать разговор с посетителем от своего имени, несмотря на то, что князь ему почему-то нравился, в своем роде, конечно. Но с другой стороны, он вызывал в нем решительное и грубое негодование.

– А генеральша когда принимает? – спросил князь, снова усаживаясь на прежнее место.

– Это уж не мое дело. Принимает по-разному, по настроению. Модистку и в одиннадцать пустит. Гавриила Ардалионовича тоже раньше других пропускают, даже к раннему завтраку допускают.

– У вас тут в апартаментах теплее, чем в Турции зимой, – заметил Кирилл, – зато у них там на улицах комфортнее, а в домах зимой – так нашему брату с непривычки не выжить.

– Не топят совсем? – уточнил Егор.

– Да, да и сами дома устроены иначе, то есть отопление и окна.

– Гм! А долго вы отсутствовали?

– Да четыре года. Впрочем, я все в одном месте проторчал, в поселке.

– Отвыкли от наших реалий?

– И это правда. Представляете, сам удивляюсь, как русский не забыл. Вот с вами сейчас беседую, а сам думаю: "а ведь я неплохо изъясняюсь". Я, наверное, поэтому так много и говорю. Честное слово, со вчерашнего дня все по-русски говорить хочется.

– Гм! Хе! В Питере раньше бывали? (Как ни крепился охранник, а невозможно было не поддержать такой учтивый и вежливый разговор.)

– В Питере? Почти нет, так, проездом. И раньше ничего тут не знал, а сейчас столько, говорят, нового, что, говорят, кто и знал-то, так заново переучивается. Здесь про суды теперь все только и говорят.

– Гм!.. Суды. Суды – это да, это правда. А что, как у них, справедливее в суде или нет?

– Не знаю. Я про наши много хорошего слышал. Вот опять же, у нас смертной казни нет.

– А там казнят?

– Да. Я в Германии видел, во Франкфурте. Меня туда Петров с собой брал.

– Вешают?

– Нет, в Германии всем головы отрубают.

– Что же, кричит?

– Куда там! В одно мгновение. Человека кладут, и падает такой широкий топор, по механизму, гильотиной называется, тяжелый, мощный... Голова отлетает так, что и глазом не успеешь моргнуть. Подготовка ужасна. Вот когда объявляют приговор, готовят, связывают, на помост ведут, вот тут кошмар! Народ сбегается, даже женщины, хоть там и не любят, чтобы женщины смотрели.

– Не их дело.

– Конечно! Конечно! Такую муку!... Преступник был человек умный, бесстрашный, крепкий, в возрасте, Сидоров по фамилии. Ну вот, я вам говорю, верите или нет, на эшафот всходил – плакал, белый как полотно. Разве это возможно? Разве не ужас? Ну кто же от страха плачет? Я и не думал, что от страха можно заплакать не ребенку, человеку, который никогда не плакал, человеку в сорок пять лет. Что же с душой в эту минуту делается, до каких судорог ее доводят? Издевательство над душой, больше ничего! Сказано: "не убий", так за то, что он убил, и его убивать? Нет, это недопустимо. Вот я уже месяц назад это видел, а до сих пор у меня как перед глазами. Раз пять снилось.

Кирилл даже воодушевился, говоря, легкий румянец проступил на его бледном лице, хотя речь его по-прежнему была тихая. Охранник с сочувственным интересом следил за ним, так что оторваться, казалось, не хотелось; может быть, тоже был человек с воображением и задатками к размышлению.

– Хорошо еще, что мучений немного, – заметил он. – Когда голова отлетает.

– Слушайте, – подхватил горячо Аркадий Петрович, – вы подметили то же, что и все вокруг, для этого и придумали эту машину, эту... эту секиру! А мне вот что в голову пришло: а вдруг это еще хуже? Вам смешно? Дико? Но если пофантазировать, такая мысль закрадется. Вот, скажем, пытка. Боль, раны, телесные муки... это отвлекает от душевных страданий. Мучаешься только ранами, пока не умрешь. Но главная боль, самая сильная, она не в ранах. Она в том, что знаешь наверняка: через час, через десять минут, через полминуты, вот сейчас – душа покинет тело. И ты больше не будешь человеком. И это неизбежно. Главное – эта неизбежность. Вот когда кладешь голову под нож и слышишь, как он скользит над головой... эти четверть секунды – самые страшные. Знаете, это не моя выдумка, многие так говорили. Я настолько в это верю, что скажу прямо: казнь за убийство – наказание несоизмеримо большее, чем само преступление. Смерть по приговору страшнее смерти от рук бандита. Бандиты нападают ночью, в лесу, внезапно. До последнего мгновения есть надежда спастись. Бывало, горло перерезано, а человек еще надеется, бежит, просит о пощаде. А тут отнимают эту последнюю надежду, которая в десять раз облегчает смерть. Тут приговор. И в этой уверенности, в неизбежности – вся мука. Сильнее этой муки нет ничего на свете. Поставьте солдата перед пушкой на поле боя, пусть стреляют – он все еще будет надеяться. Но объявите этому солдату приговор, и он сойдет с ума или заплачет. Кто сказал, что человек способен вынести это без безумия? Зачем это издевательство, безобразное, ненужное, напрасное? Может, есть такой человек, которому объявили приговор, дали помучиться, а потом сказали: "Иди, ты прощен". Вот он, может, и рассказал бы... Об этой муке, об этом ужасе и [известный пророк] говорил. Нет, так нельзя с людьми!

Денщик, хоть и не смог бы выразить это так, как Аркадий Петрович, но главное понял. Это было видно по его тронутому лицу.

– Если вам так хочется, – промолвил он, – то покурить, пожалуй, можно. Только поскорее. Вдруг спросят, а вас нет. Вот тут, под лесенкой, видите дверь? Войдете в дверь, направо каморка. Там можно, только форточку откройте, а то не порядок...

Но Аркадий Петрович не успел пойти курить. В прихожую вошел молодой человек с папкой в руках. Денщик стал снимать с него куртку. Молодой человек скосил глаза на Аркадия Петровича.

– Это, Гавриил Ардалионович, – начал конфиденциально и почти запанибрата денщик, – докладываются, что князь Никитин, родственник барыни, приехал поездом из-за границы. И с рюкзачком, только...

Князь не дослушал, потому что адъютант зашептал ему что-то на ухо. Артем Аркадьевич слушал внимательно, бросая на князя любопытные взгляды. Наконец, он перестал слушать и нетерпеливо приблизился.

– Вы Кирилл Олегович? – спросил он чрезвычайно любезно и вежливо. Это был красивый молодой человек, лет двадцати семи, подтянутый брюнет, среднего роста, с аккуратной эспаньолкой, с умным и привлекательным лицом. Однако, в его улыбке, несмотря на всю ее любезность, чувствовалась какая-то натянутость; зубы казались слишком безупречными; взгляд, при всей его веселости и кажущейся простоте, был слишком пронзительным и оценивающим.

"Наверное, когда он один, он совсем не так смотрит, и, возможно, никогда не смеется", – подумал князь.

Кирилл поспешно объяснил все, что мог, почти то же самое, что уже объяснял адъютанту и еще раньше Илье. Артем Аркадьевич, казалось, что-то припоминал.

– Не вы ли, – спросил он, – примерно год назад или около того, отправляли письмо, кажется, из Женевы, к Анне Павловне?

– Именно так.

– Тогда вас здесь знают и, вероятно, помнят. Вы к его высокопревосходительству? Сейчас я доложу... Он скоро освободится. Но вам бы... вам бы пока пройти в приемную... Что они здесь делают? – строго спросил он у адъютанта.

– Говорю же, сами не захотели...

В этот момент дверь из кабинета внезапно распахнулась, и какой-то офицер, с папкой в руках, громко разговаривая и раскланиваясь, вышел.

– Ты здесь, Артем? – крикнул голос из кабинета. – А зайди-ка сюда!

Артем Аркадьевич кивнул князю и быстро вошел в кабинет.

Минуты через две дверь снова открылась, и послышался звонкий и приветливый голос Артема Аркадьевича:

– Кирилл Олегович, прошу!

III.

Генерал, Олег Петрович Волков, стоял посреди своего кабинета и с большим любопытством смотрел на входящего князя, даже сделал к нему пару шагов. Князь подошел и представился.

– Так-с, – ответил генерал, – чем могу быть полезен?

– У меня нет срочных дел; моя цель – просто познакомиться с вами. Не хотел бы беспокоить, так как не знаю вашего распорядка дня... Я только что с вокзала... приехал из Швейцарии...

Генерал слегка усмехнулся, но тут же задумался и остановился; потом снова задумался, прищурился, еще раз оглядел гостя с головы до ног, затем быстро указал ему на стул, сам сел немного боком и с нетерпеливым видом повернулся к князю. Артем стоял в углу кабинета, у стола, и разбирал документы.

– Для знакомств у меня обычно мало времени, – сказал генерал, – но поскольку у вас, конечно, есть какая-то цель, то...

– Я так и предполагал, – перебил князь, – что вы непременно увидите в моем визите какую-то скрытую цель. Но, честное слово, кроме удовольствия от знакомства, у меня нет никаких личных мотивов.

– Исключительно приятно, разумеется, но не все же развлечения, знаете ли, бывают и дела... К тому же, я никак не могу уловить между нами... скажем так, точек соприкосновения...

– Причин нет, это точно, и общего, конечно, немного. То, что я, допустим, Кирилл Игнатьевич, а ваша жена из рода моей бабушки, это, само собой, не причина. Я это прекрасно понимаю. Но, тем не менее, вся моя мотивация только в этом и состоит. Я лет пять в стране не был, даже больше; да и уезжал в состоянии... не совсем адекватном! Тогда ничего не понимал, а сейчас и подавно. Нуждаюсь в помощи хороших людей; даже вот и дело одно есть, а к кому обратиться – не знаю. Еще в Тель-Авиве подумал: "Это почти родня, начну с них; может, мы друг другу и пригодимся, они мне, я им, – если они порядочные люди". А я слышал, что вы люди порядочные.

– Очень признателен, – удивился полковник. – Позвольте узнать, где остановились?

– Я еще нигде не остановился.

– То есть, прямо из аэропорта ко мне? И... с багажом?

– Да со мной багажа – небольшая сумка с вещами, и больше ничего; я ее в руках обычно ношу. Я номер в отеле успею вечером забронировать.

– Значит, вы все еще намерены номер снимать?

– Да, конечно.

– Судя по вашим словам, я было подумал, что вы сразу ко мне.

– Это могло бы быть, но только по вашему приглашению. Я же, признаться, не остался бы и по приглашению, не по какой-либо причине, а просто... такой у меня характер.

– Ну, стало быть, и хорошо, что я вас не пригласил и не приглашаю. Позвольте еще, Кирилл Игнатьевич, чтобы уж сразу все прояснить: раз уж мы сейчас выяснили, что о родстве между нами и речи быть не может, – хотя мне, безусловно, было бы весьма приятно, – то, стало быть...

– То, стало быть, вставать и уходить? – приподнялся Кирилл Игнатьевич, даже как-то весело усмехнувшись, несмотря на всю очевидную сложность своего положения. – И вот, честное слово, полковник, хоть я совершенно не разбираюсь ни в местных порядках, ни вообще в том, как здесь люди живут, но я так и думал, что у нас непременно именно так и получится, как сейчас получилось. Что ж, может, оно и к лучшему... Да и тогда на письмо мое не ответили... Ну, прощайте и извините, что побеспокоил.

Взгляд Кирилла Игнатьевича был настолько доброжелательным в этот момент, а улыбка его настолько без малейшего намека хотя бы на какое-нибудь скрытое недоброжелательное чувство, что полковник вдруг замер и как-то иначе посмотрел на своего гостя; вся перемена во взгляде произошла мгновенно.

– А знаете, Кирилл Игнатьевич, – сказал он совсем другим тоном, – ведь я вас все-таки не знаю, да и Вероника Павловна, может быть, захочет взглянуть на однофамильца... Подождите, если у вас время есть.

– О, у меня времени вагон, – заверил его Родион, водружая свою выдавшую виды кепку на край стола. – Я, честно говоря, надеялся, что Антонина Петровна вспомнит о моей писанине. Ваш помощник, пока я тут ждал, подозревал, что я пришел милостыню просить. Я заметил его взгляд. Наверное, у вас тут строгие инструкции на этот счет. Но я не за этим. Я просто хотел познакомиться. Хотя, признаться, немного переживаю, что помешал вам.

– Знаете что, Родион, – произнес генерал с добродушной улыбкой, – если вы и вправду такой, каким кажется, то с вами, пожалуй, будет приятно пообщаться. Но видите ли, я человек занятой. Сейчас сяду бумаги подписывать, потом поеду к его превосходительству, а после – на службу. Так что, хоть я и рад хорошим людям... но... Впрочем, я уверен, что вы прекрасно воспитаны... Сколько вам лет, молодой человек?

– Двадцать шесть.

– Ух ты! А я думал, гораздо меньше.

– Да, говорят, выгляжу моложе. Не мешать вам я быстро научусь, потому что сам этого терпеть не могу... И, знаете, мы такие разные люди на первый взгляд... по многим параметрам, что вряд ли у нас много общего. Хотя, знаете, я сам в это не верю. Часто только кажется, что нет ничего общего, а оно есть... Это от лени человеческой, что люди так быстро друг друга сортируют и ничего не находят... Впрочем, я, кажется, занудно начал? Вы как будто...

– Два слова: у вас хоть какие-то сбережения есть? Или, может, планируете чем-то заняться? Извините за прямоту...

– Что вы, я очень ценю ваш вопрос и понимаю. Никаких сбережений у меня пока нет, и занятий тоже. Надо бы, конечно. А деньги, что у меня сейчас есть, не мои. Мне дал на дорогу мой профессор, у которого я лечился и учился в Швейцарии. И дал ровно столько, чтобы хватило. Так что сейчас у меня в кармане всего несколько рублей. Дело у меня, правда, есть одно, и мне нужен совет, но...

– Скажите прямо, чем вы собираетесь жить, и какие у вас планы? – перебил его генерал.

– Работать как-нибудь хотел.

– О, да вы философ! А вообще... знаете за собой какие-нибудь таланты, способности? Хоть какие-то, которые могут принести кусок хлеба? Извините еще раз...

– О, не извиняйтесь. Нет, я думаю, что у меня нет ни талантов, ни особых способностей. Даже наоборот, потому что я больной человек и толком не учился. Что же касается хлеба, то мне кажется...

Генерал перебил его снова, засыпая вопросами. Ярослав повторил все, что уже рассказывал. Оказалось, генерал слышал о покойном Игнатове и даже пересекался с ним по службе. Почему Игнатов так заботился о его воспитании, Ярослав и сам не понимал – возможно, просто по старой дружбе с его отцом. После смерти родителей Ярослав остался совсем маленьким, рос в деревне, потому что здоровье требовало свежего воздуха. Игнатов доверил его каким-то дальним родственницам, пожилым вдовам; сначала наняли гувернантку, потом репетитора. Впрочем, Ярослав признался, что хоть все и помнит, объяснить толком не может, потому что тогда мало что осознавал. Частые приступы болезни превратили его почти в умственно отсталого (Ярослав так и сказал: «олигофрена»). Наконец, он рассказал, что Игнатов встретил в Мюнхене профессора Кляйна, немца, который специализируется на таких болезнях, имеет клинику в Баварии, лечит по своей методике – физиотерапией, диетой, и берется за развитие интеллекта; что Игнатов отправил его к нему лет шесть назад, а сам умер два года назад, скоропостижно, не оставив распоряжений; что Кляйн держал и долечивал его еще два года; что полностью не вылечил, но очень помог; и что, по его собственному желанию и благодаря одному стечению обстоятельств, отправил его теперь в Россию.

Генерал изумился.

– И у вас в России никого, совсем никого? – спросил он.

– Сейчас никого, но я надеюсь... к тому же, я получил письмо.

– В любом случае, – перебил генерал, не расслышав о письме, – вы чему-нибудь научились, и ваша болезнь не помешает вам найти какую-нибудь, например, несложную работу, где-нибудь в офисе?

– О, конечно, не помешает. И насчет работы я бы очень хотел, потому что самому интересно, на что я способен. Я учился все четыре года, хотя и не совсем систематически, а по его особой программе, и при этом много русских книг прочитал.

– Русских книг? Значит, грамотный и писать без ошибок умеете?

– О, прекрасно умею.

– Отлично; а почерк?

– А почерк замечательный. Вот в этом у меня, пожалуй, талант; я просто каллиграф. Дайте мне, я вам сейчас что-нибудь напишу для пробы, – с жаром предложил Ярослав.

– Сделайте одолжение. Это даже нужно... И мне нравится ваша готовность, Ярослав, вы очень, право, приятный.

– У вас такие прекрасные письменные принадлежности, сколько карандашей, сколько ручек, какая плотная, отличная бумага... И какой у вас чудесный кабинет! Этот пейзаж мне знаком; это баварский вид. Я уверен, что художник писал с натуры, и я уверен, что это место я видел; это возле Гармиш-Партенкирхена...

– Вполне возможно, хотя куплено это тоже здесь. Артем, дайте Кириллу бумагу; вот ручки и бумага, вот к этому столику, пожалуйста. Что это? – обратился генерал к Артему, который тем временем достал из своего портфеля и подал ему фотографию большого формата. – Ба! Вероника Филипповна! Это она сама, сама тебе прислала, сама? – оживленно и с большим любопытством спросил он Артема.

– Только что, когда я был с поздравлениями, дала. Я давно уже просил. Не знаю, уж не намек ли это с ее стороны, что я сам приехал с пустыми руками, без подарка, в такой день, – добавил Артем, неприятно улыбаясь.

– Ну, нет, – с убеждением перебил генерал, – и какой, право, у тебя склад ума! Станет она намекать... да и не меркантильная вовсе. И при том, чем ты станешь дарить: ведь тут нужны тысячи! Разве что фотографией? А что, кстати, не просила еще она у тебя фото?

– Нет, еще не просила; да, может быть, и никогда не попросит. Вы, Иван Федорович, помните, конечно, про сегодняшний вечер? Вы ведь из особо приглашенных.

– Помню, помню, конечно, и буду. Еще бы, день рождения, двадцать пять лет! Гм... А знаешь, Артем, я уж так и быть тебе открою, приготовься. Михаилу Сергеевичу и мне она обещала, что сегодня у себя вечером скажет последнее слово: быть или не быть! Так смотри же, знай.

Артем вдруг смутился, до того, что даже побледнел немного.

– Она это точно сказала? – спросил он, и голос его как бы дрогнул.

– Дня три назад слово дала. Мы так наседали оба, что вынудили. Только тебе просила до времени не говорить.

Генерал пристально рассматривал Артема; смущение Артема ему явно не нравилось.

– Вспомните, Иван Федорович, – сказал тревожно и колеблясь Артем, – что ведь она дала мне полную свободу решения до тех самых пор, пока не решит сама, да и тогда все еще мое слово за мной...

– Так разве ты... так разве ты... – испугался вдруг генерал.

– Я ничего.

– Помилуй, что же ты с нами-то хочешь сделать?

– Я ведь не отказываюсь. Я, может быть, не так выразился...

– Еще бы ты-то отказывался! – с досадой проговорил генерал, не желая даже и сдерживать досады. – Тут, брат, дело уж не в том, что ты не отказываешься, а дело в твоей готовности, в удовольствии, в радости, с которою примешь ее слова... Что у тебя дома творится?

– Да что дома? Дома все зависит от моей воли, только отец по обыкновению чудит, но ведь это совершенный хулиган стал; я с ним уж и не говорю, но однако ж в руках держу, и, право, если бы не мать, так указал бы на дверь. Мать все, конечно, плачет; сестра злится, а я им прямо сказал, наконец, что я хозяин своей судьбы, и в доме желаю, чтобы меня... слушались. Сестре, по крайней мере, все это отчеканил, при матери.

– А я, братец, всё никак не пойму, – протянул генерал, пожав плечами и разведя руками. – Вот Нина Александровна тоже наемни, как заходила, помнишь? Стонет и причитает: "Что вы делаете?!" Я спрашиваю: "Что случилось?" Оказывается, им тут видите ли, бесчестье какое-то. Какое тут бесчестье, позвольте узнать? Кто может упрекнуть эту Светлану Филипповну, или что-то про неё сказать плохое? Неужели то, что она с этим Крутицким якшалась? Да это же такая ерунда, при известных обстоятельствах, особенно! "Вы, говорит, не пустите её к вашим

дочерям?" Ну и ну! Ай да Нина Александровна! То есть, как это не понимать, как это не понимать...

– Её положения? – подсказал Гоша генералу, который запнулся. – Она прекрасно всё понимает; вы на неё не злитесь. Я тогда же всем высказал, чтоб в чужие дела не лезли. И всё же, до сих пор у нас в доме всё только и держится на том, что последнее слово ещё не сказано, а гроза уже близко. Если сегодня прозвучит это последнее слово, тогда всё и решится.

Князь слушал весь этот разговор, сидя в углу и занимаясь своими упражнениями по чистописанию. Закончив, он подошёл к столу и протянул свой листок.

– Так это Светлана Филипповна? – произнёс он, внимательно и с любопытством разглядывая фотографию. – Удивительно хороша! – добавил он тут же с жаром. На фото была изображена женщина необыкновенной красоты. На ней было чёрное шёлковое платье простого и элегантного кроя; волосы, казалось, тёмно-русые, были уложены просто, по-домашнему; глаза тёмные, глубокие, лоб задумчивый; выражение лица страстное и немного надменное. Лицо у неё было немного худощавым, возможно, даже бледным... Гоша и генерал с изумлением посмотрели на князя...

– Как, Светлана Филипповна! Неужели вы уже знакомы со Светланой Филипповной? – спросил генерал.

– Да; всего сутки в России, а уже такую красавицу знаю, – ответил князь, и тут же рассказал о своей встрече с Роговым и передал весь его рассказ.

– Вот ещё новости! – снова забеспокоился генерал, внимательно выслушав рассказ, и пытливо посмотрел на Гошу.

– Скорее всего, просто хулиганство, – пробормотал Гоша, тоже немного смутившись. – Купеческий сынок развлекается. Я что-то уже слышал о нём.

– Да и я, брат, слышал, – подхватил генерал. – Тогда же, после серёжек, Светлана Филипповна весь этот случай пересказывала. Но ведь дело-то теперь другое. Тут, возможно, действительно миллион на кону и... страсть. Безумная страсть, допустим, но всё-таки страстью пахнет, а ведь известно, на что эти господа способны, когда пьяны! Гм!.. Лишь бы не вышло чего-нибудь нехорошего! – заключил генерал задумчиво.

– Вы миллиона боитесь? – ухмыльнулся Гоша.

– А ты, конечно, нет?

– Как вам показалось, князь, – вдруг обратился к нему Гоша, – это серьёзный человек, или просто так, хулиган? Ваше личное мнение?

Что-то странное творилось с Гошей, когда он задал этот вопрос. Казалось, новая идея вспыхнула в его голове, и нетерпеливый огонек заиграл в глазах. Генерал же, искренне обеспокоенный, тоже взглянул на Илью, но без особых ожиданий ответа.

– Не знаю, как и сказать, – ответил Илья, – но мне показалось, что в нем много страсти, даже какой-то болезненной страсти. Да и сам он выглядит нездоровым. Вполне возможно, что с первых же дней в Москве снова слегнет, особенно если уйдет в загул.

– Вот как? Вам так показалось? – генерал ухватился за эту мысль.

– Да, мне так показалось.

– Однако, подобные истории могут произойти не только за несколько дней, но и к вечеру, сегодня же что-то может случиться, – усмехнулся Гоша генералу.

– Гм... Конечно... Вполне возможно, а там все зависит от того, что у нее в голове промелькнет, – сказал генерал.

– А вы знаете, какая она бывает иногда?

– То есть, какая же? – встрепенулся генерал, заметно взволнованный. – Послушай, Гоша, пожалуйста, сегодня ей не перечь и постарайся быть... ну, знаешь, быть ей по душе... Гм... Что ты так рот кривишь? Слушай, Гавриил Ардалионович, кстати, сейчас самое время сказать: ради чего мы хлопочем? Пойми, что я, в отношении моей собственной выгоды, которая здесь

присутствует, уже давно обеспечен. Я, так или иначе, но в свою пользу дело решу. Сам Олег Петрович принял решение окончательно, так что я совершенно уверен. И потому, если я сейчас чего-то и желаю, то только твоей пользы. Сам посуди, неужели ты мне не доверяешь? К тому же, ты человек... человек... одним словом, умный человек, и я на тебя понадеялся... а это, в данном случае, это... это...

– Это главное, – закончил Гоша, помогая генералу, запнувшись, и скривил губы в ядовитой улыбке, которую уже не пытался скрыть. Он смотрел своим воспаленным взглядом прямо в глаза генералу, словно желая, чтобы тот прочитал в его взгляде все его мысли. Генерал покраснел и вспыхнул.

– Да, ум – это главное! – поддакнул он, резко глядя на Гошу. – И смешной же ты человек, Гавриил Ардалионович! Ты ведь, кажется, рад этому купчику, как возможности для себя. Но тут именно умом нужно было с самого начала подойти, тут нужно понять и... и поступить с обеих сторон честно и открыто, иначе... предупредить заранее, чтобы не компрометировать других, тем более, что времени для этого было достаточно, и даже сейчас еще остается (генерал значительно поднял брови), несмотря на то, что осталось всего несколько часов... Ты понял? Понял? Ты действительно этого хочешь или нет? Если не хочешь, скажи, и – пожалуйста. Никто тебя, Гавриил Ардалионович, не держит, никто насильно в капкан не тащит, если ты видишь здесь капкан.

– Я хочу, – тихо, но твердо произнес Гоша, опустил глаза и мрачно замолчал.

Генерал был доволен произведенным эффектом. Он, конечно, перегнул палку, но, кажется, уже сожалел о том, что зашел так далеко. Внезапно он обернулся к Андрею, и на его лице мелькнула тревога – вдруг тот услышал лишнее? Но генерал тут же успокоился. Один взгляд на Андрея рассеял все сомнения.

– Ну и ну! – воскликнул генерал, разглядывая образец каллиграфии, представленный Андреем. – Да это же настоящее искусство! Гарик, глянь, какой талант!

На плотном листе ватмана Андрей вывел старинным уставным шрифтом фразу:

"Грешный инок Алимпий руку приложил".

– Видите, – пояснял Андрей с неподдельным восторгом и увлечением, – это подлинная подпись инока Алимпия с гравюры шестнадцатого века. Как же они умели подписываться, эти наши древние иноки и архимандриты! С каким вкусом, с каким усердием! Неужели у вас нет хотя бы репринтного издания, генерал? А вот здесь я написал другим шрифтом: это округлый, крупный немецкий шрифт, времен Гёте, некоторые буквы даже писались иначе. Шрифт канцелярский, шрифт писцов из магистрата, скопированный с их образцов (у меня был один). Согласитесь, что в нем есть свое очарование. Посмотрите на эти округлые "д", "а". Я переложил немецкий характер в русские буквы, что непросто, но, кажется, получилось неплохо. А вот еще один прекрасный и самобытный шрифт, вот эта фраза: "Терпение и труд все перетрут". Это шрифт русский приказной или, если хотите, военно-канцелярский. Так пишется докладная записка высокопоставленному лицу, тоже округлый шрифт, солидный, строгий шрифт, написано четко, но с большим вкусом. Профессиональный каллиграф не допустил бы этих завитушек или, скорее, этих попыток завиться, вот этих недоконченных полухвостиков, – видите? – но в целом, посмотрите, ведь это создает характер! И, право, вся тут военно-канцелярская душа проглядывает: развернуться бы и хотелось, и талант просится наружу, да воротник мундира туго застегнут, дисциплина и в почерке видна, прелесть! Недавно меня один такой образец поразил, случайно нашел, да еще где? В Минске! Ну, а вот это простой, обыкновенный и чистейший английский шрифт: дальше уж элегантность не может идти, тут все прелесть, бисер, жемчуг; это законченность; но вот и вариация, и опять французская, я ее у одного французского коммивояжера подсмотрел: тот же английский шрифт, но чернее; линия чуть чернее и толще, чем в английском, ан – пропорция света нарушена! И заметьте также: овал изменен, чуть круглее, и вдобавок позволена завитушка, а завитушка – это опаснейшая вещь! Завитушка

требует исключительного вкуса; но если только она удалась, если только найдена пропорция, то такой шрифт ни с чем не сравним, так даже, что можно в него влюбиться.

– Да-а! Да вы в какие дебри забираетесь, – смеялся генерал. – Да вы, батенька, не просто каллиграф, вы артист, а? Гарик?

– Удивительно, – сказал Гарик. – И даже с осознанием своего предназначения, – добавил он, насмешливо улыбаясь.

– Хохочи, хохочи, а тут ведь карьера, – произнес генерал. – Вы понимаете, князь, кому мы теперь доверим вам бумаги составлять? Да вам сразу можно тридцать пять тысяч в месяц назначить, с первого же дня. Уже половина второго, – заключил он, взглянув на смарт-часы. – К делу, князь, потому что мне нужно спешить, а сегодня, возможно, мы с вами больше не увидимся! Присядьте на минутку; я уже объяснил, что принимать вас часто не смогу; но помочь вам немного искренне желаю, немного, разумеется, то есть в самом необходимом, а дальше – как вам будет угодно. Место в канцелярии я вам найду, не сложное, но требующее внимательности. Теперь насчет дальнейшего: в доме, то есть в семье Гавриила Ардалионовича Иволгина, вот этого моего молодого товарища, с которым советую познакомиться, его мать и сестра освободили в своей квартире две-три комнаты с мебелью и сдают их проверенным жильцам, с питанием и обслуживанием. Мою рекомендацию, уверен, Инна Александровна примет. Для вас же, князь, это просто находка, во-первых, потому что вы будете не один, а, так сказать, в кругу семьи, а, по моему мнению, вам нельзя сразу оказаться одному в таком городе, как Москва. Инна Александровна, мать, и Варвара Ардалионовна, сестра Гавриила Ардалионовича, – женщины, которых я очень уважаю. Инна Александровна, жена Ардалиона Александровича, отставного генерала, моего бывшего сослуживца, но с которым я, по некоторым причинам, прекратил общение, что, впрочем, не мешает мне по-своему его уважать. Все это я вам говорю, князь, чтобы вы понимали, что я вас, так сказать, лично рекомендую, следовательно, за вас как бы ручаюсь. Оплата вполне разумная, и я надеюсь, зарплата ваша скоро будет вполне достаточной. Конечно, человеку нужны и деньги на личные расходы, хотя бы немного, но вы не обидитесь, князь, если я вам скажу, что вам лучше избегать наличных, да и вообще денег в кармане. Так я вижу вас. Но поскольку сейчас у вас кошелек совсем пуст, то для начала позвольте предложить вам эти двадцать пять тысяч. Мы, конечно, рассчитаемся, и если вы такой честный и душевный человек, каким кажетесь, то проблем у нас не возникнет. Если же я вами так интересуюсь, то у меня даже есть определенная цель; позже вы ее узнаете. Видите, я с вами совершенно откровенен; надеюсь, Ганя, ты не против проживания князя в вашей квартире?

– О, напротив! И мама будет очень рада... – вежливо и услужливо подтвердил Ганя.

– У вас ведь, кажется, только одна комната и занята. Этим, как его... Фед...

– Федорченко.

– Да; не нравится мне этот ваш Федорченко: скользкий тип какой-то. И не понимаю, почему его так поддерживает? Он что, правда ей родственник?

– Да нет, это все шутки! И родством там не пахнет.

– Ну, ладно! Так что, князь, вы довольны или нет?

– Благодарю вас, генерал, вы проявили ко мне необыкновенную доброту, особенно учитывая, что я даже не просил. И говорю это не из гордости. Я, правда, не знал, куда податься. Меня, правда, недавно звал к себе Ромашов.

– Ромашов? Нет уж. Я бы вам по-отечески, или, если хотите, по-дружески, посоветовал забыть о господине Ромашове. И вообще, советовал бы вам держаться семьи, в которую вы войдете.

– Раз уж вы так добры, – начал было князь, – то у меня к вам одна просьба. Я получил уведомление...

– Ну, извините, – перебил генерал, – сейчас у меня ни минуты свободной. Сейчас я скажу Елизавете Прокофьевне о вас. Если она захочет принять вас прямо сейчас (я постараюсь пред-

ставить вас в самом выгодном свете), то советую воспользоваться шансом и понравиться ей, потому что Елизавета Прокофьевна может вам очень пригодиться; вы же однофамилец. Если не захочет, то не обессудьте, в другой раз как-нибудь. А ты, Ганя, посмотри пока на эти счета, мы вчера с Федосеевым спорили. Нужно не забыть их включить...

Генерал вышел, и князь так и не успел рассказать о своем деле, о котором начинал уже чуть ли не в четвертый раз. Ганя закурил сигарету и предложил князю; князь принял, но не заговаривал, не желая мешать, и стал рассматривать кабинет. Но Ганя едва взглянул на лист бумаги, исписанный цифрами, который показал ему генерал. Он был рассеян; улыбка, взгляд, задумчивость Гани стали еще более тяжелыми для князя, когда они остались наедине. Вдруг он подошел к князю; тот в этот момент стоял опять перед портретом Анастасии Филипповны и рассматривал его.

– Так вам нравится такая женщина, князь? – спросил он вдруг, пронзительно смотря на него. И казалось, будто у него было какое-то необычайное намерение.

– Удивительное лицо! – ответил князь. – И я уверен, что судьба ее не из обычных. Лицо веселое, а ведь она ужасно страдала, да? Об этом глаза говорят, вот эти две косточки, две точки под глазами в начале щек. Это гордое лицо, ужасно гордое, и вот не знаю, добра ли она? Ах, если бы добра! Все было бы спасено!

– А вы бы женились на такой женщине? – продолжал Ганя, не отрывая от него своего воспаленного взгляда.

– Я не могу жениться ни на ком, я нездоров, – сказал князь.

– А Ромашов женился бы? Как вы думаете?

– Да что же, жениться, я думаю, и завтра же можно; женился бы, а через неделю, пожалуй, и зарезал бы ее.

Только князь это сказал, Ганя вдруг так вздрогнул, что князь чуть не вскрикнул.

– Что с вами? – спросил он, хватая его за руку.

– Ваше сиятельство! Его превосходительство просят вас пожаловать к ее превосходительству, – объявил лакей, появляясь в дверях. Князь отправился вслед за лакеем.

IV.

Все три дочери Авериных были девицами видными: здоровыми, кровь с молоком, высокими, с развитой фигурой, крепкими руками, почти как у спортсменов. И, конечно, в силу богатырского здоровья, не отказывали себе в хорошей еде, чего и не думали скрывать. Мать, Антонина Петровна, поглядывала иногда с укоризной на их аппетит, но её мнение, при всем показном уважении дочерей, давно утратило быллой вес. Устоявшийся триумvirат дочерей часто пересиливал волю матери, и Антонина Петровна, ради сохранения лица, предпочитала не спорить. Хотя характер ее редко слушался голоса разума; с годами она становилась все более взбалмошной и нетерпеливой, даже чудаковатой. Но рядом всегда был покорный муж, на которого и выливался накопившийся негатив, после чего в семье воцарялась гармония.

Антонина Петровна и сама не отличалась умеренностью в еде и в половине первого принимала участие в обильном завтраке, больше похожем на обед, вместе с дочерьми. Кофе девушки выпивали еще раньше, ровно в десять, прямо в постели, сразу после пробуждения. Так повелось у них раз и навсегда. В половине же первого накрывали стол в малой столовой возле комнат матери, и к этому семейному завтраку иногда присоединялся и сам генерал, если позволяла служба. Помимо чая, кофе, сыра, меда, масла, особых оладий, любимых генеральшей, котлет и прочего, подавался даже крепкий, горячий бульон. В то утро, с которого начинается наша история, все семейство собралось в столовой в ожидании генерала, обещавшего прийти к половине первого. Если бы он опоздал хоть на минуту, за ним тотчас же послали бы; но он явился вовремя. Поздоровавшись с женой и поцеловав ее руку, он заметил в ее лице нечто особенное. Хотя он еще накануне предчувствовал, что так и будет, из-за одного "случайного разговора" (как он сам выражался), и засыпая, об этом беспокоился, но все равно стру-

сил. Дочери подошли поцеловать его; и тут, хотя и не сердились на него, чувствовалось что-то необычное. Правда, генерал, в силу некоторых обстоятельств, стал излишне подозрителен; но как опытный отец и муж, он тут же решил принять меры.

Возможно, небольшое отступление не повредит ходу нашего повествования, если мы сейчас внесем ясность в обстоятельства, окружавшие семейство генерала Лобанова в начале этой истории. Генерал, хоть и не отличался особой образованностью, называя себя "самоучкой", был опытным отцом и мужем. Он придерживался принципа не торопить дочерей с замужеством, не "стоять над душой" и не докучать излишней родительской заботой об их счастье, что часто случается даже в самых разумных семьях, где подрастают дочери. Ему даже удалось убедить Елену Петровну в правильности этой стратегии, хотя это было непросто, ведь она казалась противоестественной. Но доводы генерала были весомыми и опирались на конкретные факты. Предоставленные сами себе, девушки рано или поздно возьмутся за ум, и тогда дело пойдет быстрее, потому что они подойдут к нему с желанием, отбросив капризы и излишнюю придирчивость. Родителям же оставалось лишь внимательно и незаметно следить, чтобы не произошло странного выбора или нежелательного уклона, а затем, в подходящий момент, помочь всеми силами и направить дело в нужное русло. К тому же, с каждым годом росло их состояние и влияние в обществе. Следовательно, чем больше проходило времени, тем больше выигрывали и дочери, как потенциальные невесты.

Но среди всех этих очевидных преимуществ возник еще один фактор: старшей дочери, Веронике, неожиданно (как это обычно и бывает) исполнилось двадцать пять лет. Примерно в это же время Аркадий Игоревич Зубов, человек из высшего общества, с обширными связями и огромным состоянием, вновь выразил давнее желание жениться. Ему было около пятидесяти пяти лет, он отличался изысканностью и утонченным вкусом. Зубов хотел заключить выгодный брак, так как был большим ценителем красоты. Он давно дружил с генералом Лобановым, особенно после совместного участия в нескольких финансовых проектах, и обратился к нему за советом и помощью: возможно ли его женитьба на одной из его дочерей? В тихой и размеренной жизни семьи Лобановых наступал переломный момент.

Несомненной звездой семьи, как уже упоминалось, была младшая, Аглая. Но даже Игорь Петрович, человек с непомерным самомнением, осознавал, что ему здесь нечего искать, что Аглая не для него. Возможно, сестринская любовь и крепкая дружба несколько преувеличивали ситуацию, но будущее Аглаи представлялось им не просто судьбой, а воплощением земного рая. Ее избранник должен был обладать всеми мыслимыми достоинствами и успехами, не говоря уже о финансовом благополучии. Сестры даже без лишних слов договорились о возможности пожертвовать чем-то ради Аглаи: ее приданое должно было быть неслыханным и огромным. Родители знали об этом соглашении старших дочерей, и поэтому, когда Игорь Петрович обратился к ним за советом, у них почти не было сомнений, что одна из старших сестер согласится исполнить его желание, тем более что Афанасий Иванович мог не беспокоиться о приданом. Предложение Игоря Петровича генерал сразу оценил по достоинству, как человек опытный и знающий жизнь. Так как Игорь Петрович пока что действовал с крайней осторожностью, выжидая и прощупывая почву, родители предложили дочерям лишь самые общие и отдаленные предположения. В ответ они получили, хоть и не совсем определенное, но успокаивающее заявление о том, что старшая, Александра, возможно, не откажется. Это была девушка с твердым характером, но добрая, рассудительная и покладистая; она могла бы выйти за Игоря Петровича даже с удовольствием, и если бы дала слово, то сдержала бы его. Она не любила роскошь, не грозила скандалами и резкими переменами, а могла бы сделать жизнь спокойной и приятной. Она была очень привлекательна, хотя и не так эффектна, как сестра. Что могло быть лучше для Игоря Петровича?

Тем не менее, дело продолжало продвигаться медленно и осторожно. Игорь Петрович и генерал договорились избегать каких-либо формальных и необратимых шагов. Даже родители

не решались говорить с дочерьми откровенно; начало чувствоваться напряжение: генеральша Епанчина, мать семейства, почему-то стала недовольна, а это было очень важно. Существовало одно обстоятельство, которое мешало всему, сложная и хлопотная ситуация, из-за которой все могло сорваться.

Эта запутанная и полная неожиданностей история, как любил выражаться сам Аркадий Петрович, началась очень давно, примерно лет восемнадцать назад. Рядом с одним из самых богатых поместий, принадлежавших Афанасию Ивановичу, в центральной области, жил небогатый землевладелец. Это был человек, известный своими постоянными и невероятными неудачами, отставной офицер из хорошей дворянской семьи, даже более знатной, чем семья Аркадия Петровича, некий Филипп Александрович Соколов. Погрязший в долгах, он, наконец, после тяжелой работы, почти крестьянского труда, смог привести свое небольшое хозяйство в порядок. Любая удача его очень радовала. Воодушевленный и полный надежд, он уехал на несколько дней в районный центр, чтобы встретиться и, если возможно, договориться с одним из главных своих кредиторов. На третий день после его приезда в город к нему приехал из его деревни староста, верхом на лошади, с обожженным лицом и обгорелой бородой, и сообщил, что "усадьба сгорела", вчера, в полдень, и "жена сгорела, а дети живы". Даже Соколов, привыкший к ударам судьбы, не смог этого вынести; он сошел с ума и через месяц умер от лихорадки. Сгоревшее имение с разбежавшимися крестьянами было продано за долги; двух маленьких девочек, шести и семи лет, детей Соколова, Афанасий Иванович по своей доброте взял на свое попечение и воспитание. Они росли вместе с детьми управляющего Афанасия Ивановича, отставного чиновника с большой семьей, немца по происхождению. Вскоре осталась только одна девочка, Настя, младшая умерла от коклюша; Аркадий Петрович совсем забыл о них обеих, живя за границей.

Спустя пять лет Аркадий Петрович, проездом, решил навестить свое поместье и вдруг увидел в доме управляющего очаровательного ребенка, девочку лет двенадцати, живую, милую, умную и очень красивую; в этом Аркадий Петрович разбирался безошибочно. Он пробыл в поместье всего несколько дней, но успел принять меры; в воспитании девочки произошли большие изменения: была приглашена почтенная и пожилая гувернантка, опытная в воспитании девушек, швейцарка, образованная и преподававшая, кроме французского, разные науки. Она поселилась в деревенском доме, и воспитание маленькой Насти стало очень серьезным. Через четыре года обучение закончилось; гувернантка уехала, а за Настей приехала барыня, тоже помещица и соседка Аркадия Петровича, но уже в другой, далекой области, и забрала Настю с собой по указанию Аркадия Петровича. В этом небольшом поместье был небольшой, только что построенный деревянный дом; он был обставлен очень изящно, и деревня называлась "Тихая Долина". Помещица привезла Настю прямо в этот тихий дом, и, так как сама она, бездетная вдова, жила всего в километре, она поселилась вместе с Настей. За Настей ухаживали старая ключница и молодая, опытная горничная. В доме были музыкальные инструменты, изящная девичья библиотека, картины, эстампы, карандаши, кисти, краски, красивая левретка, а через две недели приехал и сам Аркадий Петрович... С тех пор он очень полюбил эту тихую деревню, приезжал каждое лето, гостил по два, даже по три месяца, и так прошло довольно долгое время, около четырех лет, спокойно и счастливо.

В начале зимы, спустя месяца четыре после короткого летнего визита Афанасия Ивановича в их дачный поселок "Солнечное", где он пробыл всего пару недель, до Натальи Филипповны дошел слух, что Афанасий Иванович в Москве женится на красавице, богатой и влиятельной. Говорили, что он делает выгодную партию. Слух оказался не совсем правдивым: свадьба была только в планах, и ничего еще не было решено. Однако для судьбы Натальи Филипповны это известие стало поворотным моментом. Она внезапно проявила решительность и показала совершенно неожиданный характер. Недолго думая, она оставила свой загородный дом и приехала в Москву, прямо к Игнату Петровичу, совершенно одна. Тот был пора-

жен и попытался заговорить, но сразу стало ясно, что нужно менять тон, громкость голоса, темы для разговоров, которые раньше так хорошо работали, логику – все! Перед ним сидела совершенно другая женщина, не похожая на ту, которую он знал и с которой расстался всего несколько месяцев назад в "Солнечном".

Эта новая женщина, как оказалось, многое знала и понимала – настолько, что Игнат Петрович удивлялся, откуда у нее такие сведения и точные представления. (Неужели из ее девичьей библиотеки?) Более того, она даже в юридических вопросах разбиралась и имела представление о том, как устроен мир, или, по крайней мере, о том, как некоторые дела проворачиваются. Во-вторых, характер ее изменился: она больше не была робкой, неопределенной, как воспитанница пансиона, иногда очаровательной своей наивностью и живостью, иногда грустной, задумчивой, удивленной, недоверчивой, плачущей и беспокойной.

Теперь перед ним хохотала и колола его язвительными сарказмами необыкновенная женщина, заявившая, что никогда не испытывала к нему ничего, кроме глубочайшего презрения, презрения до тошноты, которое возникло сразу после первого удивления. Эта новая Наталья Филипповна заявила, что ей все равно, на ком он женится, но она приехала, чтобы помешать этому браку, и помешать из злости, просто потому, что ей так хочется, и так и будет. "Хотя бы для того, чтобы посмеяться над тобой вдоволь, потому что теперь и я хочу посмеяться".

По крайней мере, так она выражалась, хотя, возможно, и не раскрывала всего, что творилось у нее в голове. Пока эта новоявленная Инна Филипповна заливалась смехом и излагала свои мысли, Арсений Петрович в уме взвешивал ситуацию, пытаясь привести в порядок свои несколько растрепанные мысли. Размышления эти заняли немало времени; он углубился в суть и принял окончательное решение почти через две недели. Дело в том, что Арсению Петровичу в ту пору было около пятидесяти, и он был человеком в высшей степени основательным и устоявшимся. Его положение в обществе давно уже было закреплено на прочном фундаменте. Себя, свой комфорт и покой он ценил превыше всего, как и подобает порядочному человеку. Ни малейшего нарушения, ни малейшего колебания не могло быть допущено в том, что было выстроено всей его жизнью и приобрело такую прекрасную форму. С другой стороны, опыт и глубокий взгляд на вещи подсказали Елисееву довольно быстро и точно, что он имеет дело с существом совершенно неординарным, с типом, который не только угрожает, но и непременно осуществит свои угрозы, и, главное, ни перед чем не остановится, тем более что ей решительно нечего терять. Тут явно крылось что-то другое, какая-то душевная неразбериха, что-то вроде романтического бунта, бог знает против кого и из-за чего, какое-то ненасытное презрение, совершенно вышедшее из-под контроля, – одним словом, что-то крайне нелепое и недопустимое в приличном обществе, и столкновение с этим для любого порядочного человека – настоящее наказание. Разумеется, с богатством и связями Елисеева можно было бы совершить какое-нибудь мелкое и совершенно безобидное злодеяние, чтобы избавиться от неприятности. С другой стороны, было очевидно, что и сама Инна Филипповна почти ничего не может сделать вредного, в юридическом смысле, например; даже скандал не смогла бы устроить серьезный, потому что ее легко можно было бы ограничить. Но все это только в том случае, если бы Инна Филипповна решила действовать как все, и как обычно действуют в подобных ситуациях, не выходя за рамки приличий. Но тут-то и пригодилась Елисееву его проницательность: он понял, что Инна Филипповна и сама прекрасно осознает свою юридическую беспомощность, но что у нее на уме совсем другое и... в ее сверкающих глазах. Ничем не дорожа, а более всего собой (требовалось немало ума и проницательности, чтобы понять, что она давно перестала ценить себя, и чтобы ему, скептику и светскому цинику, поверить в серьезность этого чувства), Инна Филипповна могла погубить себя безвозвратно и ужасно, Сибирью и каторгой, лишь бы поиздеваться над человеком, к которому она испытывала такое нечеловеческое отвращение. Арсений Петрович никогда не скрывал, что он несколько трусоват, или, лучше сказать, в высшей степени консервативен. Если бы он знал, например, что его убьют прямо во время бракосоче-

тания, или произойдет что-нибудь в этом роде, крайне неприличное, нелепое и неприемлемое в обществе, то он, конечно, испугался бы, но при этом не столько того, что его убьют и ранят до крови, или публично плюнут в лицо, сколько того, что это произойдет с ним в такой неестественной и непривычной форме. А ведь Инна Филипповна именно это и предрекала, хотя еще и не говорила об этом прямо; он знал, что она прекрасно его понимает и изучила, а значит, знает, куда ударить. А так как свадьба была еще только в планах, Арсений Петрович смирился и уступил Инне Филипповне.

Еще одним фактором, повлиявшим на его решение, стало разительное отличие нынешней Ирины Петровны от прежней. Раньше это была просто милая девушка, а теперь... Игнатов долго корил себя за то, что четыре года смотрел и не видел. Конечно, многое меняется, когда с обеих сторон, внезапно и изнутри, происходит перемена. Впрочем, он вспоминал моменты, когда при взгляде на нее его посещали странные мысли, особенно при взгляде в глаза: в них словно предчувствовалась какая-то глубокая и загадочная тьма. Этот взгляд словно задавал вопрос без ответа. В последние два года его часто удивлял изменившийся цвет лица Ирины Петровны; она становилась невероятно бледной и – как ни странно – от этого даже хорошела. Игнатов, который, как все повидавшие виды мужчины, поначалу с пренебрежением относился к тому, как легко ему досталась эта неопытная душа, в последнее время засомневался в своей оценке. В любом случае, еще прошлой весной он решил, что в скором времени удачно и с достатком выдаст Ирину Петровну замуж за какого-нибудь благоразумного и достойного человека, работающего в другом регионе. (О, как ужасно и злобно смеялась над этим теперь Ирина Петровна!) Но теперь Аркадий Павлович, очарованный переменами, даже подумал, что мог бы вновь использовать эту женщину в своих целях. Он решил поселить Ирину Петровну в Москве и окружить ее роскошью и комфортом. Если не это, то другое: Ириной Петровной можно было похвастаться и даже покрасоваться в определенном кругу. А Аркадий Павлович так дорожил своей репутацией в этой сфере.

Минуло пять лет с момента его переезда в Санкт-Петербург, и за это время многое встало на свои места. Положение Игната Петровича, однако, было далеко от идеального. Самым неприятным было то, что, однажды проявив слабость, он так и не смог обрести душевное равновесие. Его преследовал страх, причем он сам не мог толком объяснить, чего именно он боится. Скорее всего, дело было в Антонине Филипповне.

В первые два года у него даже закрадывалась мысль, что Антонина Филипповна сама не прочь выйти за него замуж, но из-за непомерной гордости ждет от него решительного предложения. Претензия, конечно, странная; Игнат Петрович хмурился и погружался в глубокие раздумья. К своему большому и, чего греха таить, немного неприятному удивлению, он однажды совершенно случайно убедился, что даже если бы он и сделал предложение, то получил бы отказ. Долгое время он не мог этого понять. Ему казалось, что единственное объяснение – это непомерная гордость "оскорбленной и непредсказуемой женщины", которая предпочитает продемонстрировать свое презрение в отказе, чем навсегда определить свое положение и достичь недостижимого величия.

Хуже всего было то, что Антонина Филипповна брала у него крупные суммы. На проценты она не соглашалась, даже на очень высокие, и, хотя и приняла предложенный ей комфорт, жила довольно скромно и почти ничего не накопила за эти пять лет. Игнат Петрович решил на хитрый ход, чтобы разорвать эти оковы: он стал исподволь, с помощью опытного советника, искушать ее различными идеальными соблазнами. Но олицетворенные идеалы: бизнесмены, депутаты, зарубежные дипломаты, блогеры, коучи личностного роста, даже криптоинвесторы – никто не производил на Антонину Филипповну никакого впечатления, как будто вместо сердца у нее был камень, а чувства иссохли и умерли навсегда.

Она вела уединенный образ жизни, читала, училась, увлекалась музыкой. Знакомств у нее было немного; в основном она общалась с какими-то бедными и странными сотрудницами

колл-центров, знала двух начинающих актрис, каких-то пенсионерок, очень любила большую семью одного уважаемого учителя, и в этой семье ее тоже очень любили и всегда были рады видеть. Довольно часто по вечерам у нее собиралось пять-шесть знакомых, не больше. Торопов появлялся очень часто и регулярно. В последнее время не без труда познакомился с Антониной Филипповной генерал Ерохин. В то же время совершенно легко и без всяких усилий познакомился с ней и молодой чиновник, по фамилии Федотов, неприятный и сальный шут, с претензиями на веселость и любитель выпить. Был знаком один молодой и странный человек, по фамилии Сеницын, скромный, аккуратный и ухоженный, выходец из нищеты, ставший микрофинансистом. Познакомился, наконец, и Гавриил Ардалионович...

В итоге об Антонине Филипповне сложилась странная репутация: о ее красоте знали все, но и только; никто не мог похвастаться чем-либо большим, никто не мог рассказать ничего конкретного. Такая репутация, ее образование, изысканные манеры, остроумие – все это окончательно утвердило Игната Петровича в определенном плане. И именно с этого момента в этой истории принял деятельное и чрезвычайное участие сам генерал Ерохин.

Когда Глеб Олегович так участливо попросил у него совета касательно одной из своих воспитанниц, он тут же, с подчеркнутой деликатностью, выложил все начистоту. Он признался, что готов пойти на любые меры, чтобы обрести долгожданную свободу; что он не успокоится, даже если Полина Викторовна сама пообещает оставить его в покое; что ему нужны не просто слова, а железобетонные гарантии. Они договорились и решили действовать сообща. Сначала решили применить самые мягкие методы и затронуть, так сказать, "чувствительные струны души".

Оба приехали к Полине Викторовне, и Глеб Олегович сразу же начал с того, что рассказал о невыносимом кошмаре своего положения; он во всем обвинил себя; откровенно признался, что не может раскаяться в своем давнем поступке, потому что он гедонист до мозга костей и не в силах себя контролировать, но сейчас он хочет жениться, и вся судьба этого крайне выгодного и респектабельного брака в ее руках; одним словом, он ждет всего от ее великодушия.

Затем взял слово генерал-майор Ерохин, как отец, и говорил здраво, избегая сентиментальности, лишь упомянул, что полностью признает ее право решать судьбу Арсения Глебовича, ловко подчеркнул собственное смирение, намекнув, что судьба его дочери, а возможно, и двух других дочерей, зависит теперь от ее решения. На вопрос Полины Викторовны: "Чего конкретно вы от меня хотите?" Глеб Олегович с прежней, предельной откровенностью, признался, что он до сих пор не может прийти в себя от страха, испытанного пять лет назад, и не успокоится, пока Полина Викторовна сама не выйдет замуж. Он тут же добавил, что эта просьба была бы, конечно, абсурдной, если бы у него не было на то оснований. Он заметил и точно узнал, что молодой человек из очень хорошей семьи, живущий в уважаемом доме, а именно Арсений Ардалевич Волгин, которого она знает и принимает у себя, давно уже безумно влюблен в нее и отдал бы полжизни за малейшую надежду завоевать ее расположение. Об этом Арсений Ардалевич сам признался ему, Глебу Олеговичу, давно уже, по-дружески и от чистого сердца, и об этом давно знает и Иван Федорович, покровительствующий молодому человеку. Наконец, если он, Глеб Олегович, не ошибается, любовь молодого человека давно известна самой Полине Викторовне, и ему даже показалось, что она смотрит на эту любовь благосклонно.

Конечно, ему труднее всего говорить об этом, но если Полина Викторовна захочет увидеть в нем, в Глебе Олеговиче, кроме эгоизма и желания устроить свою жизнь, хоть немного заботы о ней, то поймет, что ему давно странно и даже тяжело видеть ее одиночество: что тут один лишь беспросветный мрак, полное неверие в обновление жизни, которая могла бы так прекрасно возродиться в любви и семье и обрести новую цель; что тут гибель способностей, возможно, выдающихся, добровольное упивание своей тоской, одним словом, даже некий романтизм, недостойный ни здравого ума, ни благородного сердца Полины Викторовны. Повторив еще раз, что ему труднее всех говорить, он заключил, что не может отказаться от

надежды, что Полина Викторовна не ответит ему презрением, если он выразит свое искреннее желание обеспечить ее будущее и предложит ей сумму в семьдесят пять миллионов рублей. Он добавил в пояснение, что эта сумма все равно уже зарезервирована для нее в его завещании; одним словом, это вовсе не компенсация какая-нибудь... и что, наконец, почему бы не допустить и не простить ему человеческое желание хоть чем-нибудь облегчить свою совесть и т. д., и т. д., все, что обычно говорят в подобных случаях. Глеб Олегович говорил долго и убедительно, добавив, так сказать, мимоходом, очень любопытную деталь, что об этих семидесяти пяти миллионах он упомянул сейчас впервые, и что о них не знает даже Иван Федорович, который сейчас здесь сидит; одним словом, не знает никто.

Реакция Инны Филипповны ошеломила обоих приятелей. Не только не было и следа от бывшего сарказма, прежней неприязни и ненависти, прежнего хохота, от одного воспоминания о котором у Олега до сих пор бежали мурашки по спине, но, напротив, она словно обрадовалась возможности наконец поговорить с кем-то искренне и по-дружески. Она призналась, что сама давно хотела попросить дружеского совета, что мешала лишь гордость, но теперь, когда лед тронулся, ничего и быть не могло лучше. Сперва с печальной улыбкой, а затем весело и заливисто рассмеявшись, она призналась, что прежней бури точно не будет; что она давно уже отчасти пересмотрела свои взгляды на жизнь, и что хотя в душе и не изменилась, но все же вынуждена была многое принять ввиду свершившихся событий; что сделано, то сделано, что прошло, то прошло, так что ей даже странно, что Олег Игоревич до сих пор так напуган.

Тут она повернулась к Роману Федоровичу и с видом глубочайшего уважения заявила, что давно уже наслышана о его дочерях, и давно уже привыкла глубоко и искренне уважать их. Одна мысль о том, что она могла бы быть им хоть чем-то полезна, была бы, кажется, для нее счастьем и гордостью. Это правда, что ей сейчас тяжело и скучно, очень скучно; Олег Игоревич угадал ее мечты; она хотела бы возродиться, пусть не в любви, так в семье, осознав новую цель; но о Кирилле Ардалионовиче она почти ничего не может сказать. Кажется, правда, что он ее любит; она чувствует, что могла бы и сама его полюбить, если бы могла поверить в твердость его чувств; но он очень молод, даже если и искренен; тут решение дается трудно. Ей, впрочем, больше всего нравится то, что он работает, трудится и один содержит всю семью. Она слышала, что он человек с энергией, с амбициями, хочет карьеры, хочет пробиться.

Слышала также, что Надежда Александровна Волгина, мать Кирилла Ардалионовича, прекрасная и в высшей степени уважаемая женщина; что его сестра Вероника Ардалионовна очень интересная и энергичная девушка; она много слышала о ней от Сорокина. Она слышала, что они стойко переносят свои невзгоды; она очень хотела бы с ними познакомиться, но еще вопрос, радушно ли они примут ее в их семью? В целом она ничего не имеет против возможности этого брака, но об этом еще слишком много нужно подумать; она хотела бы, чтобы ее не торопили.

Что же касается семидесяти пяти тысяч, – напрасно Олег Игоревич так стеснялся говорить о них. Она сама понимает цену деньгам и, конечно, их возьмет. Она благодарит Олега Игоревича за его деликатность, за то, что он даже генералу об этом не говорил, не только Кириллу Ардалионовичу, но, однако же, почему бы и ему не знать об этом заранее? Ей нечего стыдиться за эти деньги, входя в их семью. В любом случае, она ни у кого не собирается просить прощения ни в чем и хочет, чтобы это знали. Она не выйдет за Кирилла Ардалионовича, пока не убедится, что ни в нем, ни в его семье нет какой-то скрытой мысли на ее счет. Во всяком случае, она ни в чем не считает себя виноватой, и пусть бы лучше Кирилл Ардалионович узнал, на каких основаниях она прожила все эти пять лет в Петербурге, в каких отношениях с Олегом Игоревичем, и много ли накопила состояния. Наконец, если она и принимает сейчас капитал, то вовсе не как плату за свою девичью честь, в которой она не виновата, а просто как компенсацию за исковерканную судьбу.

В конце концов, она так увлеклась и разгорячилась, излагая все это (что, в общем, было вполне ожидаемо), что генерал Лихачев остался доволен и посчитал дело практически законченным. Однако, однажды испуганный Зубов теперь не до конца верил в успех и долго опасался, что и здесь кроется подвох. Переговоры, тем не менее, начались. Основной пункт, на котором строился весь маневр обоих приятелей, а именно возможность увлечения Алины Филипповны к Гоше, постепенно прояснялся и казался все более реальным, так что даже Зубов начинал иногда верить в благоприятный исход.

Тем временем Алина Филипповна объяснилась с Гошей. Слов было сказано немного, словно ее честь страдала от этого. Она допускала и позволяла ему любить ее, но настойчиво заявила, что не хочет ничем себя связывать; что до самой свадьбы (если она вообще состоится) оставляет за собой право сказать "нет", даже в самый последний момент. Такое же право она предоставляла и Гоше.

Вскоре Гоша достоверно узнал, благодаря одному услужливому случаю, что неприязнь всей его семьи к этому браку и к Алине Филипповне лично, проявлявшаяся в домашних скандалах, уже известна Алине Филипповне во всех подробностях. Сама она с ним об этом не говорила, хотя он и ждал этого каждый день. Впрочем, можно было бы еще многое рассказать об историях и обстоятельствах, связанных с этим сватовством и переговорами, но мы и так забежали вперед, тем более что некоторые из этих обстоятельств пока что существуют лишь в виде неопределенных слухов.

Например, будто бы Зубов откуда-то узнал, что Алина Филипповна вступила в какие-то тайные и ни от кого не зависящие отношения с дочерью Лихачева – слух совершенно неправдоподобный. Зато другому слуху он невольно верил и боялся его как кошмара: он слышал, что Алина Филипповна прекрасно знает, что Гоша женится только из-за денег, что у Гоши душа черная, алчная, нетерпеливая, завистливая и непомерно, непропорционально самолюбивая; что Гоша, хотя и действительно страстно добивался расположения Алины Филипповны прежде, но когда оба друга решили использовать эту страсть, начинавшуюся с обеих сторон, в свою пользу и купить Гошу, продав ему Алину Филипповну в законные жены, то он возненавидел ее как свой кошмар. В его душе будто бы странно смешались страсть и ненависть, и он, хотя и дал наконец, после мучительных колебаний, согласие жениться на "скверной женщине", поклялся в душе горько отомстить ей за это и "довести" ее потом, как он якобы сам выразился. Все это Алина Филипповна будто бы знала и что-то втайне готовила.

Зубов до того струсил, что даже Лихачеву перестал рассказывать о своих опасениях. Но бывали моменты, когда он, как слабый человек, вновь ободрялся и быстро воспрял духом. Он, например, очень воодушевился, когда Алина Филипповна дала, наконец, слово обоим друзьям, что вечером, в день своего рождения, скажет свое последнее слово. Зато самый странный и невероятный слух, касавшийся самого уважаемого Ивана Федоровича, увы, все больше и больше подтверждался.

Тут с самого начала все казалось полнейшей нелепицей. Сложно было представить, что Аркадий Петрович, на склоне своих лет, при его-то ясном уме и практическом знании жизни, вдруг воспылал страстью к этой самой Веронике Львовне. Но, видимо, все зашло так далеко, что его увлечение граничило с безумием. На что он рассчитывал в этой ситуации — сложно даже вообразить, возможно, даже на помощь самого Игната. У Тоцкого закрадывалось подозрение, что между генералом и Игнатом существует некий молчаливый сговор, основанный на взаимопонимании. Впрочем, известно, что человек, охваченный страстью, особенно в зрелом возрасте, теряет зрение и готов видеть надежду там, где ее нет и в помине; более того, он теряет рассудок и ведет себя как глупый ребенок, даже если он семи пядей во лбу. Все знали, что генерал приготовил Веронике Львовне ко дню рождения роскошное кольцо, стоившее целое состояние, и очень переживал из-за этого подарка, хотя и понимал, что Вероника Львовна женщина бескорыстная. Накануне дня рождения Вероники Львовны он был как на иголках, хотя

и старался не показывать вида. Об этом-то колье и прознала генеральша Елизавета Сергеевна. Конечно, Елизавета Сергеевна давно подозревала мужа в неверности и даже отчасти смирилась с этим, но упустить такой случай она не могла: слух о колье ее крайне заинтересовал. Генерал это предвидел; еще накануне были обронены намеки; он предчувствовал серьезный разговор и боялся его. Вот почему ему так не хотелось в то утро, с которого мы начали рассказ, идти завтракать в семейный круг. Еще до появления князя он решил сослаться на дела и избежать встречи. Избежать для генерала иногда означало просто-напросто сбежать. Ему хотелось выиграть хотя бы этот день, и особенно сегодняшней вечер, без скандала. И тут как нельзя кстати появился князь. "Просто подарок судьбы!" — подумал генерал, входя к жене.

V.

Генеральша очень гордилась своим происхождением. Представьте же ее состояние, когда она узнала, что этот последний в роду князь, о котором она что-то слышала, оказался жалким омом и чуть ли не нищим, живущим на подаяния. Генерал намеренно играл на публику, чтобы сразу привлечь внимание, отвлечь разговор в другую сторону.

В особо острых ситуациях генеральша обычно закатывала глаза и, откинувшись назад, смотрела в пространство, не говоря ни слова. Это была высокая женщина, ровесница мужа, с темными, сильно поседевшими, но еще густыми волосами, с горбатым носом, худощавая, с желтыми, впалыми щеками и тонкими губами. Лоб у нее был высокий, но узкий; серые, довольно большие глаза иногда выражали самые неожиданные эмоции. Когда-то она уверовала, что ее взгляд необычайно эффектен, и это убеждение осталось с ней навсегда.

– Принять? Ты говоришь, принять его сейчас же? – воскликнула генеральша, вытаращив глаза на мечущегося перед ней Ивана Федоровича.

– Да бросьте церемонии, если вам, конечно, не противно его видеть, – поспешил объяснить генерал. – Чистый ребенок, да еще и несчастный; какие-то у него приступы болезненные; только что из Швейцарии, прямо с вокзала, одет нелепо, как иностранец, и без копейки в кармане, буквально; чуть не плачет. Я ему двадцать пять тысяч дал и хочу устроить его в офис, на какую-нибудь должность. А вас, дамы, прошу его угостить, он, кажется, голоден...

– Вы меня удивляете, – продолжала генеральша. – Голоден и приступы! Что за приступы?

– Да они не часто повторяются, и он почти как ребенок, хотя и образованный. Я хотел вас, дамы, – обратился он к дочерям, – попросить его проверить, все-таки полезно узнать, на что он способен.

– Про-ве-рить? – протянула генеральша и с изумлением стала переводить взгляд с дочерей на мужа и обратно.

– Да ладно тебе, не надо так серьезно... впрочем, как хочешь; я имел в виду просто проявить участие, принять его, это почти благотворительность.

– Принять его? Из Швейцарии?!

– Швейцария тут ни при чем; но, повторяю, как хочешь. Просто он, во-первых, однофамилец и, может быть, даже родственник, а во-вторых, ему негде голову преклонить. Я подумал, тебе будет интересно, он же из нашей фамилии.

– Разумеется, мам, если с ним можно не церемониться; к тому же он с дороги наверняка голоден, почему не накормить, если ему некуда податься? – сказала старшая, Александра.

– И вообще, он как дитя, с ним можно еще в мафию играть.

– В мафию играть? Каким образом?

– Ах, мам, перестань притворяться, пожалуйста, – с досадой перебила Аглая.

Средняя, Аделаида, девушка смешливая, не выдержала и рассмеялась.

– Позовите его, пап, мама разрешает, – решила Аглая.

Генерал набрал номер и велел позвать князя.

– Но чтобы обязательно завязать ему салфетку на шею, когда он сядет за стол, – решила генеральша, – позвать Федора, или пусть Мавра... чтобы стояли за ним и следили, как он ест. Он хоть спокоен во время приступов? Не делает лишних движений?

– Напротив, он очень воспитан и с прекрасными манерами. Немного наивен иногда... Да вот и он сам! Вот, знакомьтесь, последний из рода князь, однофамилец и, может быть, даже родственник, примите его. Сейчас будут завтракать, князь, так что присоединяйтесь... А я, извините, опаздываю, спешу...

– Известно, куда вы спешите, – важно проговорила генеральша.

– Спешу, спешу, мой друг, опаздываю! Да дайте ему ваши альбомы, дамы, пусть он там что-нибудь напишет; он каллиграф от бога! Талант; он мне там расписался старинным шрифтом: "Игумен Пафнутий руку приложил"... Ну, до свидания.

– Аркадий? Настоятель? Пойдите, пойдите, куда же вы, и какой там Аркадий? – с настойчивым раздражением и почти с тревогой выкрикнула генеральша убежавшему мужу.

– Да, да, голубушка, это такой старинный настоятель... а я к Игнатьеву, ждет, давно, и сам назначил... Князь, до скорого!

Генерал торопливо удалился.

– Знаю я, к какому он Игнатьеву! – отрезала Елизавета Прокофьевна и сердито перевела взгляд на князя. – Что же... – начала она брезгливо и досадливо припоминая: – ну, что там? Ах, да: ну, какой там настоятель?

– Мам, – попыталась вставить Александра, а Глафира даже приотпнула ногой.

– Не перебивай меня, Александра Ивановна, – отчеканила ей генеральша, – я тоже хочу знать. Садитесь вот здесь, князь, вот на этом кресле, напротив, нет, сюда, к окну, к свету ближе подвиньтесь, чтобы я могла видеть. Ну, какой там настоятель?

– Настоятель Аркадий, – ответил князь внимательно и серьезно.

– Аркадий? Это любопытно; ну, что же он?

Генеральша спрашивала торопливо, резко, не отрывая глаз от князя, а когда князь отвечал, она кивала головой вслед за каждым его словом.

– Настоятель Аркадий, семнадцатого века, – начал князь, – он возглавлял монастырь под Ярославлем, в нынешней нашей Ивановской области. Был известен праведной жизнью, ездил в Москву, помогал улаживать тогдашние дела и поставил подпись под одним указом, а скан этой подписи я видел. Мне понравился шрифт, и я его запомнил. Когда недавно генерал захотел посмотреть, как я пишу, чтобы предложить мне должность, то я написал несколько фраз разными стилями, и между прочим "Настоятель Аркадий руку приложил" почерком самого настоятеля Аркадия. Генералу очень понравилось, вот он теперь и вспомнил.

– Глафира, – сказала генеральша, – запомни: Аркадий, или лучше запиши, а то я вечно забываю. Впрочем, я думала, будет интереснее. Где же эта подпись?

– Осталась, кажется, в кабинете у генерала, на столе.

– Сейчас же отправить курьера и принести.

– Да я вам лучше в другой раз напишу, если вам угодно.

– Конечно, мам, – сказала Александра, – а сейчас лучше бы позавтракать; мы проголодались.

– И то верно, – решила генеральша. – Пройдемте, князь; вы очень хотите есть?

– Да, сейчас захотел очень, и очень вам признателен.

– Это очень хорошо, что вы тактичны, и я замечаю, что вы вовсе не такой... странный, каким вас представили. Пройдемте. Садитесь вот здесь, напротив меня, – хлопотала она, усаживая князя, когда вошли в столовую. – Я хочу на вас смотреть. Александра, Аделаида, угощайте князя. Правда ведь, что он вовсе не такой... нездоровый? Может, и салфетку не надо... Вам, князь, завязывали салфетку во время еды?

– Раньше, когда мне лет шесть было, кажется, завязывали, а теперь я обычно себе на колени салфетку кладу, когда ем.

– Так и надо. А приступы?

– Приступы? – немного удивился князь: – Приступы сейчас у меня довольно редко случаются. Впрочем, не знаю; говорят, здешний климат мне будет не полезен.

– Он складно говорит, – заметила генеральша, обращаясь к дочерям и продолжая энергично кивать головой в такт каждому слову гостя, – я, признаться, не ожидала. Значит, все это ерунда и сплетни, как обычно. Утощайтесь, Родион, и рассказывайте: где вы родились, где учились? Мне все интересно; вы меня заинтриговали.

Родион поблагодарил и, с аппетитом уплетая салат, снова принялся излагать то, что уже не раз рассказывал этим утром. Генеральша расцветала на глазах. Девицы тоже слушали довольно внимательно. Попытались найти общих предков; оказалось, что Родион свою родословную помнит неплохо; но как ни старались, а между ним и генеральшей почти никакого родства не обнаружилось. Разве что между прадедами и прабабками можно было бы наскрести какое-то отдаленное родство. Эта тема особенно пришлась по душе генеральше, которой почти никогда не удавалось поговорить о своих корнях, при всем желании, так что она поднялась из-за стола в приподнятом настроении.

– Пойдемте все в нашу гостиную, – предложила она, – и кофе туда принесут. У нас там такая общая комната есть, – обратилась она к Родиону, увлекая его за собой, – проще говоря, моя маленькая приемная, где мы, когда одни, собираемся, и каждая занимается своим делом: Елизавета, вот эта, моя старшая дочь, на синтезаторе играет, или читает, или вяжет; Антонина – пейзажи и натюрморты пишет (и никак не закончит), а Клавдия сидит, в телефоне копается. У меня тоже руки опускаются: ничего не получается. Ну вот, и пришли; присаживайтесь, Родион, сюда, к электрокамину, и рассказывайте. Мне интересно, как вы рассказываете истории. Хочу окончательно убедиться, и когда с Кирой Аркадьевной увижусь, с этой старой сплетницей, ей про вас все перескажу. Хочу, чтобы вы и ее заинтересовали. Ну, говорите же.

– Мам, ну это как-то странно – рассказывать по команде, – заметила Антонина, которая тем временем поправила свой мольберт, взяла кисти, палитру и принялась копировать давно начатый пейзаж с распечатки. Елизавета и Клавдия устроились вместе на маленьком диване, и, скрестив руки на коленях, приготовились слушать. Родион заметил, что на него со всех сторон устремлено пристальное внимание.

– Я бы ничего не стала рассказывать, если бы мне так приказали, – буркнула Клавдия.

– Почему? Что тут такого? С чего ему молчать? Язык у него есть. Я хочу оценить его ораторские способности. Ну, о чем-нибудь. Расскажите, как вам понравился Сочи, первое впечатление. Вот увидите, он сейчас начнет и прекрасно начнет.

– Впечатление было яркое... – начал было Родион.

– Вот-вот, – подхватила нетерпеливая Лизавета Прокофьевна, обращаясь к дочерям, – уже начал.

– Дайте же ему, мама, хоть слово вставить, – остановила ее Елизавета. – Этот Родион, может, еще тот аферист, а вовсе не простачок, – шепнула она Клавдии.

– Скорее всего, я давно это подозреваю, – ответила Клавдия. – И низко с его стороны притворяться. Что он этим хочет добиться?

– Первое впечатление было оглушительным, – повторил Кирилл. – Когда меня везли из Сибири, через разные областные центры, я просто смотрел в окно и, помню, даже не спрашивал ни о чём. Это случилось после серии тяжелых приступов моей болезни, а после них я всегда впадал в какое-то оцепенение, память отключалась, а разум, хотя и работал, но логика мыслей словно обрывалась. Больше двух-трех идей подряд я не мог связать. Так мне казалось. Когда же приступы отпускали, я снова становился здоровым и сильным, как сейчас. Помню, тоска меня душила; хотелось даже заплакать; я всё удивлялся и волновался: на меня ужасно

подействовало, что всё вокруг чужое; это я осознал. Чужбина меня убивала. Окончательно я очнулся от этого мрака, помню, вечером, в Ростове, когда въезжали в город, и меня разбудил лай бездомной собаки возле рынка. Эта псина меня поразила и почему-то понравилась, и вдруг в моей голове как будто всё прояснилось.

– Собака? Это странно, – заметила Антонина Петровна. – Впрочем, ничего удивительного, иная из нас и в крысу влюбится, – добавила она, сердито взглянув на смеющихся девушек. – Всякое бывает. Продолжайте, Кирилл.

– С тех пор я очень люблю собак. Это даже какая-то симпатия во мне. Я стал о них расспрашивать, потому что раньше не обращал внимания, и сразу же убедился, что это очень полезное животное, верное, сильное, терпеливое, неприхотливое; и благодаря этой собаке мне вдруг вся Ростовская область понравилась, и прошла прежняя тоска.

– Всё это очень странно, но о собаке можно и забыть; давайте перейдём к другой теме. Чего ты всё смеёшься, Алёна? И ты, Аделина? Кирилл прекрасно рассказал о собаке. Он сам её видел, а ты что видела? Ты дальше Москвы выезжала?

– Я собаку видела, тапан, – сказала Аделина.

– А я и слышала, – подхватила Алёна. Все три снова засмеялись. Кирилл засмеялся вместе с ними.

– Это очень невежливо с вашей стороны, – заметила Антонина Петровна; – вы их простите, Кирилл, а они хорошие. Я с ними вечно ругаюсь, но я их люблю. Они ветреные, легкомысленные, сумасбродные.

– Почему же? – смеялся Кирилл: – и я бы не упустил на их месте возможности посмеяться. А я всё-таки за собаку: собака – друг человека.

– А вы добрый, Кирилл? Просто любопытно, – спросила Антонина Петровна.

Все снова засмеялись.

– Опять эта проклятая собака всплыла; я о ней и не думала! – воскликнула Антонина Петровна. – Поверьте мне, пожалуйста, Кирилл, я без всякого...

– Намёка? О, верю, конечно!

И Кирилл смеялся, не переставая.

– Это очень хорошо, что вы смеётесь. Я вижу, что вы добрейший молодой человек, – сказала Антонина Петровна.

– Иногда злой, – ответил Кирилл.

– А я, знаете, добрая, – вдруг заявила Антонина Петровна, – и если разобраться, всегда такой была. Это, наверное, мой главный недостаток, потому что нельзя быть постоянно доброй. Я, конечно, злюсь, особенно на Ивана Федоровича, вот на них всех, но самое ужасное, что добрее всего я именно когда злюсь. Недавно, перед вашим приходом, разозлилась и притворилась, что ничего не понимаю, и не смогу понять. Бывает со мной такое, как ребенок малый. Варя меня отрезвила, спасибо ей. Впрочем, это все ерунда. Я не настолько глупа, как кажусь, и как мои дочери хотят меня выставить. У меня есть характер, и я не особо стеснительная. Я это говорю без всякой злобы. Иди сюда, Варенька, поцелуй меня... ну, хватит нежностей, – сказала она, когда Варвара с чувством поцеловала ее в губы и руку. – Продолжайте, Кирилл. Может, что-нибудь поинтереснее этой истории с ослом вспомните.

– Я все равно не понимаю, как можно так откровенно рассказывать, – снова заметила Даша, – я бы точно не смогла.

– А Кирилл сможет, потому что он очень умный, раз в десять умнее тебя, а может, и в двенадцать. Надеюсь, ты это почувствуешь. Докажите им это, Кирилл, продолжайте. Осла и правда можно пропустить. Что вы еще, кроме осла, за границей видели?

– Но и про осла было умно, – возразила Аня: – Кирилл очень интересно рассказал про свой болезненный опыт, и как ему все понравилось благодаря какому-то внешнему импульсу.

Мне всегда было интересно, как люди сходят с ума, а потом выздоравливают. Особенно, если это происходит внезапно.

– Правда ведь? Правда ведь? – подхватила Антонина Петровна. – Я вижу, что и ты иногда бываешь умной. Ну, хватит смеяться! Вы, кажется, остановились на швейцарской природе, Кирилл, ну же!

– Мы приехали в Люцерн, и меня повезли по озеру. Я чувствовал, как там красиво, но мне было ужасно тяжело, – сказал Кирилл.

– Почему? – спросила Анна.

– Не знаю. Мне всегда тяжело и тревожно смотреть на такую природу в первый раз. И хорошо, и тревожно. Впрочем, это все еще из-за болезни.

– Нет, я бы очень хотела посмотреть, – сказала Дарья. – И не понимаю, когда мы вообще за границу соберемся. Я вот уже два года не могу найти сюжет для картины. "Восток и Юг давно избиты..." Найдите мне, Кирилл, сюжет для картины.

– Я в этом ничего не понимаю. Мне кажется, нужно просто взглянуть и писать.

– А я вот взглянуть не умею.

– Да что вы загадки говорите? Ничего не понимаю! – перебила Антонина Петровна. – Как это – взглянуть не умею? Есть глаза, вот и смотри. Если здесь не умеешь смотреть, то и за границей не научишься. Лучше расскажите, как вы сами смотрели, Кирилл.

– Вот это будет лучше, – добавила Дарья. – Кирилл ведь за границей научился смотреть.

– Не знаю, я там только здоровье поправил. Не уверен, что научился смотреть. Впрочем, почти все время я был очень счастлив.

– Счастливы? Вы умеете быть счастливым? – воскликнула Варвара. – Тогда почему говорите, что не научились смотреть? Еще нас поучите!

– Научите, пожалуйста, – засмеялась Дарья.

– Ничему я вас не научу, – рассмеялся Родион, – я почти все время в санатории под Костромой провел. Куда я там выезжал? Чему я вас научу? Сначала просто не было тоскливо, потом я быстро пошел на поправку, а потом каждый день стал дорог, и чем дальше, тем дороже. Я даже стал это замечать. Засыпал довольный, а просыпался еще счастливее. Почему так – сложно объяснить.

– То есть вам никуда не хотелось, ничто не манило? – спросила Александра.

– Сначала, поначалу, да, манило. И я очень беспокоился. Все думал, как буду жить дальше, хотел испытать судьбу. Особенно в некоторые моменты тосковал. Знаете, такие бывают, особенно когда один. Там у нас речка была, небольшая, с холма бежала тоненькой струйкой, почти вертикально – белая, шумная, пенистая. Высоко бежала, а казалось, близко. Вроде метров триста, а казалось – пятьдесят шагов. Я любил ночью слушать ее шум. Вот тогда накатывало беспокойство. Иногда днем, когда забредешь в лес, стоишь один посреди сосен, старых, высоких, смолистых. Вверху, на пригорке, заброшенная турбаза, полуразрушенная. Наш санаторий далеко внизу, еле виден. Солнце яркое, небо голубое, тишина жуткая. И вот тут-то все куда-то зовет. И кажется, если пойти прямо, долго-долго, и зайти за горизонт, туда, где небо с землей сходится, то там вся разгадка. И сразу увидишь новую жизнь, в тысячу раз ярче и громче, чем у нас. Мне все большой город представлялся, как Москва, в нем небо-скребы, шум, гам, жизнь... Да мало ли что представлялось! А потом мне показалось, что и в изоляторе можно найти огромную жизнь.

– Последнюю умную мысль я в каком-то паблике видела, когда мне лет тринадцать было, – сказала Ангелина.

– Это все философия, – заметила Алиса, – вы философ и приехали нас поучать.

– Может, вы и правы, – улыбнулся Родион, – я, наверное, и правда философ. И кто знает, может, и правда хочу поучать... Вполне возможно.

– И философия у вас такая же, как у Зинаиды Петровны, – подхватила Ангелина, – такая бухгалтерша, вдова, к нам ходит, вроде компаньонки. У нее вся задача в жизни – экономия. Только чтобы дешевле прожить, только о скидках и говорит. И заметьте, деньги у нее есть, она хитрая. Так точно и ваша огромная жизнь в изоляторе. А может, и ваше четырехлетнее счастье в санатории, за которое вы вашу Москву продали. И, кажется, с выгодой, несмотря на то, что на копейках.

– Насчет жизни в СИЗО не стоит так однозначно говорить, – возразил князь . – Я слышал историю от одного человека, который провел там лет десять, кажется. Он был пациентом у моего знакомого психиатра, лечился от депрессии. У него случались панические атаки, он был очень тревожным, плакал часто, и однажды даже пытался покончить с собой. Жизнь его там была, конечно, не сахар, но и не настолько уж бессмысленная. Все его общение сводилось к тараканам, да к березке, что росла за окном... Но лучше я вам расскажу про одну встречу, которая произошла со мной в прошлом году. Там было одно очень странное обстоятельство, – странное именно потому, что такое редко случается. Человека приговорили к высшей мере, вместе с другими, и вывели на расстрел за политическую деятельность. Минут через двадцать зачитали указ о помиловании и заменили наказание другим сроком; но вот в промежутке между двумя этими решениями, двадцать минут, или, по крайней мере, четверть часа, он прожил с абсолютной уверенностью, что через несколько мгновений его не станет. Мне было очень интересно слушать, когда он вспоминал свои ощущения, и я несколько раз просил его рассказать подробнее. Он помнил все до мельчайших деталей и говорил, что никогда этого не забудет. Метрах в двадцати от места казни, где стояли зеваки и солдаты, были вкопаны три столба, потому что приговоренных было несколько. Первых троих подвели к столбам, привязали, надели на них балаклавы, чтобы не было видно лиц; затем напротив каждого столба выстроился взвод. Мой знакомый стоял восьмым в очереди, то есть ему предстояло идти к столбам в третью очередь. Батюшка обошел всех с крестом. Получалось, что жить оставалось минут пять, не больше. Он говорил, что эти пять минут показались ему вечностью, невероятным богатством; ему казалось, что за эти пять минут он проживет столько жизней, что сейчас даже не стоит думать о последнем вздохе, так что он даже успел кое-что спланировать: рассчитал время, чтобы попрощаться с товарищами, на это отвел минуты две, потом еще две минуты, чтобы подумать о себе, а потом, чтобы в последний раз оглядеться вокруг. Он очень хорошо помнил, что именно так и поступил. Ему было двадцать семь лет, он был здоров и полон сил; прощаясь с товарищами, он помнил, что задал одному из них какой-то совершенно неважный вопрос и даже очень заинтересовался ответом. Потом, когда он попрощался с товарищами, наступили те две минуты, которые он отсчитал, чтобы подумать о себе; он заранее знал, о чем будет думать: ему хотелось представить себе как можно ярче, что вот он сейчас есть и живет, а через три минуты будет уже нечто, кто-то или что-то, – так кто же? Где же? Все это он думал решить за эти две минуты! Неподалеку была церковь, и купол с золотым крестом сверкал на солнце. Он помнил, что очень пристально смотрел на этот купол и на лучи, от него исходящие; не мог отвести взгляд от лучей: ему казалось, что эти лучи – его новая сущность, что он через три минуты как-нибудь сольется с ними... Неизвестность и страх перед этим новым, которое вот-вот наступит, были ужасны; но он говорил, что больше всего его мучила мысль: "А что, если бы не умирать! Что, если бы вернуть жизнь, – какая бесконечность! Все это было бы моим! Я бы тогда каждую минуту в целую жизнь превратил, ничего бы не упустил, каждую бы секунду ценил, ни одной бы не потратил впустую!" Он говорил, что эта мысль в конце концов переросла в такую злобу, что ему уже хотелось, чтобы его поскорее пристрелили.

Игорь замолчал, словно оборвал фразу. Все ждали продолжения, логического завершения его мысли.

– Закончили? – спросила вдруг Ирина.

– А? Да, закончил, – ответил Игорь, словно очнувшись от мимолетного забытья.

– И к чему был этот рассказ?

– Просто... вспомнилось. К слову пришлось...

– Вы как-то отрывочны, – заметила Ольга. – Вы, Игорь, хотели сказать, что ни одна секунда не стоит гроша, а порой и пять минут дороже всего на свете. Все это, конечно, прекрасно, но позвольте спросить: а что стало с тем вашим знакомым, который вам эти ужасы рассказывал? Ему ведь заменили приговор, подарили, так сказать, эту "бесконечную жизнь". И что он сделал с этим богатством? Жил ли он каждую минуту "на счету"?

– О, нет, он сам мне говорил, я его об этом спрашивал, – жил совсем не так, упустил множество моментов.

– Ну, вот вам и ответ. Значит, невозможно жить по-настоящему, "отсчитывая секунды". Почему-то это не получается.

– Да, почему-то не получается, – повторил Игорь. – Мне и самому так казалось... Но все равно, как-то не верится...

– То есть вы думаете, что проживете умнее всех? – спросила Ирина с вызовом.

– Да, иногда мне и такое в голову приходит.

– И сейчас думаете?

– И сейчас думаю, – ответил Игорь, все так же тихо и даже немного робко глядя на Ирину.

Но тут же снова рассмеялся и весело посмотрел на нее.

– Скромно! – воскликнула Ирина, почти раздражаясь.

– А какие вы все-таки смелые! Вот вы смеетесь, а меня так поразил его рассказ, что потом мне снилось, именно эти пять минут...

Он внимательно и серьезно обвел взглядом своих слушательниц.

– Вы не сердитесь на меня? – спросил он вдруг, словно в замешательстве, но при этом прямо глядя всем в глаза.

– За что? – воскликнули девушки в удивлении.

– Да вот, что я все как будто поучаю...

Все засмеялись.

– Если сердитесь, то не сердитесь, – сказал он. – Я ведь сам знаю, что меньше других жил и меньше всех понимаю в жизни. Я, может быть, иногда очень странно говорю...

И он заметно смутился.

– Если говорите, что были счастливы, значит, жили не меньше, а больше. Зачем же вы кривите душой и извиняетесь? – строго и придирчиво начала Ирина. – И не беспокойтесь, пожалуйста, что вы нас поучаете, тут нет никакого вашего триумфа. С вашим спокойствием можно и сто лет жизни счастьем наполнить. Вам покажи смертную казнь и покажи вам палец, вы из того и из другого одинаково похвальную мысль выведете, да еще и довольны останетесь. Так можно прожить.

– Зачем ты злишься, не понимаю, – вмешалась Галина Петровна, давно наблюдавшая за лицами говорящих. – И о чем вы говорите, тоже не могу понять. Какой палец и что за ерунда? Игорь прекрасно говорит, только немного грустно. Зачем ты его смущаешь? Он когда начал, то смеялся, а теперь совсем поник.

– Ничего, мам.

– А жаль, Игорь, что вы смертную казнь не видели, я бы вас кое о чем спросила.

– Я видел смертную казнь, – ответил Игорь.

– Видели? – воскликнула Аглая, вскинув руки. – Я должна была догадаться! Это объясняет абсолютно все. Если вы видели это, как вы можете утверждать, что были счастливы все это время? Разве я не говорила правду?

– А у вас в деревне казнят? – поинтересовалась Аделаида, приподняв бровь.

– Я в Марселе видел, когда ездил туда с Кузнецовым, он брал меня с собой в командировку. Прилетел и сразу попал на это.

– И как, вам понравилось? Много поучительного? Полезного? – допытывалась Аглая с ироничной улыбкой.

– Мне это совершенно не понравилось, и после этого я даже немного болел, но признаюсь, что смотрел, как замороженный, не мог отвести взгляд.

– Я бы тоже не смогла отвести взгляд, – пробормотала Аглая, поежившись.

– Там очень не любят, когда женщины приходят смотреть, потом даже в новостных каналах пишут об этих женщинах.

– Значит, если считают, что это не женское дело, то тем самым хотят сказать (а, следовательно, оправдать), что это дело мужское. Поздравляю с логикой. И вы, конечно, так же думаете?

– Расскажите про смертную казнь, – перебила Аделаида, нетерпеливо постукивая пальцами по столу.

– Мне бы сейчас не хотелось... – смутился и слегка нахмурился Артем.

– Вам просто жалко нам рассказывать, – язвительно заметила Аглая.

– Нет, я потому, что я уже про эту самую смертную казнь недавно рассказывал.

– Кому рассказывали?

– Вашему охраннику, пока ждал...

– Какому охраннику? – раздалось со всех сторон, и несколько пар глаз устремились на Артема.

– Ну, который в приемной сидит, такой с сединой, лицо красное; я в приемной сидел, чтобы к Кириллу Федоровичу попасть.

– Это странно, – прокомментировала Ирина Петровна, нахмурившись.

– Артем – демократ, – отрезала Аглая, – ну, если Алексею рассказывали, нам уж точно не можете отказать.

– Я непременно хочу услышать, – повторила Аделаида, подавшись вперед.

– Действительно, – обратился к ней Артем, немного оживляясь (казалось, он очень быстро и доверчиво воодушевлялся), – действительно, у меня была мысль, когда вы спрашивали у меня сюжет для картины, предложить вам сюжет: нарисовать лицо приговоренного за минуту до исполнения приговора, когда он еще стоит на платформе, перед тем, как лечь на эту доску.

– Как лицо? Одно лицо? – уточнила Аделаида, нахмурившись. – Странный будет сюжет, и какая же тут картина?

– Не знаю, почему же? – с жаром возразил Артем. – Я недавно в Берлине видел одну такую картину. Мне очень хочется вам рассказать... Когда-нибудь расскажу... Она меня очень поразила.

– О берлинской картине вы непременно расскажете потом, – сказала Аделаида, – а сейчас объясните мне картину с этой казнью. Можете передать так, как вы это себе представляете? Как же это лицо нарисовать? Так, одно лицо? Какое же это лицо?

– Это ровно за шестьдесят секунд до конца, – начал Глеб с энтузиазмом, погружаясь в воспоминания и, казалось, забывая обо всем вокруг. – Тот самый миг, когда он поднялся на ступеньки и ступил на помост. Тогда он посмотрел в мою сторону; я увидел его лицо и все понял... Впрочем, как это передать словами! Мне бы очень хотелось, чтобы кто-то это запечатлел! Лучше бы, если бы это сделали вы! Я сразу подумал, что это была бы сильная картина. Понимаете, нужно воссоздать всю предысторию, абсолютно все. Он сидел в СИЗО, ожидая приговора, по крайней мере, еще неделю; он рассчитывал на обычную бюрократию, что документы должны пройти через инстанции и только через неделю будет решение. Но вдруг, по какой-то причине, процесс был ускорен. В пять утра он спал. Это было в конце октября; в пять часов еще темно и холодно. Тихо вошел дежурный, с охраной, и осторожно коснулся его плеча; он приподнялся, оперся на руку, – видит свет: "Что случилось?" – "В десять часов –

исполнение". Он спросонья не поверил, начал спорить, что документы будут готовы только через неделю, но когда окончательно проснулся, перестал спорить и замолчал, – так рассказывали, – потом сказал: "Все-таки тяжело так внезапно..." и снова замолчал, и больше ничего не хотел говорить. Затем три-четыре часа на формальности: священник, завтрак, к которому ему подают вино, кофе и мясо (ну, разве это не издевательство? Ведь, подумаешь, как это жестоко, а с другой стороны, ей богу, эти невинные люди от чистого сердца делают и уверены, что это – проявление гуманности), потом подготовка (вы знаете, что такое подготовка к казни?), наконец, везут через город к месту... Мне кажется, что и тут кажется, что еще бесконечно долго жить, пока везут. Мне кажется, он наверняка думал по дороге: "Еще долго, еще три улицы до конца; вот эту проеду, потом еще одна останется, потом та, где пекарня справа... когда же мы доедем до пекарни!" Вокруг толпа, крики, шум, десятки тысяч лиц, десятки тысяч глаз, – все это нужно пережить, а главное, мысль: "Вот их десятки тысяч, и их не казнят, а меня – казнят!" Ну, это все – предыстория. К помосту ведет лестница; тут он перед лестницей вдруг заплакал, а это был сильный и мужественный человек, говорят, был опасным преступником. С ним все время неотлучно был священник, и в машине с ним ехал, и все говорил, – вряд ли тот слышал: начнет слушать, а с третьего слова уже не понимает. Так должно быть. Наконец, начал подниматься по лестнице; тут ноги связаны, и поэтому движутся мелкими шагами. Священник, должно быть, человек умный, перестал говорить, а все ему крест давал целовать. Внизу лестницы он был очень бледен, а как поднялся и встал на помост, стал вдруг белым как бумага, совершенно как чистый лист. Наверняка у него ноги слабели и деревенели, и тошнота подступала, – как будто что-то давит в горле, и от этого щекотно, – чувствовали вы это когда-нибудь в испуге или в очень страшные моменты, когда и рассудок остается, но никакой власти уже не имеет? Мне кажется, если, например, неминуемая гибель, дом на тебя рушится, то тут вдруг ужасно захочется сесть и закрыть глаза и ждать – будь что будет!.. Вот тут-то, когда начиналась эта слабость, священник поскорее, быстрым таким жестом и молча, ему крест к самым губам вдруг подставлял, маленький такой крест, серебряный, четырехконечный, – часто подставлял, поминутно. И как только крест касался губ, он глаза открывал, и опять на несколько секунд как бы оживлялся, и ноги шли. Крест он с жадностью целовал, спешил целовать, точно спешил не забыть захватить что-то про запас, на всякий случай, но вряд ли в эту минуту что-нибудь религиозное осознавал. И так было до самой платформы... Удивительно, что редко в эти самые последние секунды теряют сознание! Напротив, голова ужасно живет и работает, должно быть, сильно, сильно, сильно, как машина в работе; я представляю, так и стучат разные мысли, все незаконченные и, может быть, и смешные, посторонние такие мысли: "Вот этот смотрит – у него родинка на лбу, вот у палача одна нижняя пуговица заржавела...", а между тем, все знаешь и все помнишь; одна такая точка есть, которую никак нельзя забыть, и в обморок упасть нельзя, и все вокруг нее, вокруг этой точки ходит и вертится. И подумать, что это так до самой последней четверти секунды, когда уже голова на плахе лежит, и ждет, и... знает, и вдруг услышит над собой, как лезвие скользнуло! Это непременно услышишь! Я бы, если бы лежал, я бы нарочно слушал и слышал! Тут, может быть, только одна десятая доля мгновения, но непременно услышишь! И представьте же, до сих пор еще спорят, что, может быть, голова когда и отлетит, то еще секунду, может быть, знает, что она отлетела, – каково понятие! А что если пять секунд!.. Нарисуйте помост так, чтобы видна была ясно и близко одна только последняя ступень; преступник ступил на нее: голова, лицо бледное как бумага, священник протягивает крест, тот с жадностью протягивает свои синие губы и смотрит, и – все знает. Крест и голова, вот картина, лицо священника, палача, его двух помощников и несколько голов и глаз снизу, – все это можно нарисовать как бы на третьем плане, в тумане, для фона... Вот такая картина.

Глеб замолчал и посмотрел на всех.

— Это совсем не похоже на уход от реальности, — тихо пробормотала Александра.

— Ладно, теперь поведайте нам о своей любви, — предложила Аделина.

Кирилл удивленно поднял брови.

— Послушайте, — торопливо проговорила Аделина, — после вашего рассказа о той картине из галереи, я хочу услышать историю вашей влюбленности. Не отпирайтесь, она была! К тому же, когда вы начинаете рассказывать, вы перестаете быть занудой.

— Как только вы закончите рассказывать, вам тут же станет стыдно за свои слова, — вдруг заметила Алевтина. — Почему так?

— Какая же это чушь! — отрезала генеральша, с возмущением глядя на Алевтину.

— Глупость, — подтвердила Александра.

— Не верьте ей, Кирилл, — обратилась к нему генеральша, — она это нарочно, из вредности какой-то. Она совсем не так воспитана, не думайте плохо. Они, наверное, что-то задумали, но они уже вас любят. Я вижу это по их лицам.

— И я вижу это по их лицам, — сказал Кирилл, с особым нажимом на словах.

— Это как? — с любопытством спросила Аделина.

— Что вы знаете о наших лицах? — заинтересовались и две другие.

Но Кирилл молчал, сохраняя серьезное выражение лица. Все ждали его ответа.

— Я расскажу вам позже, — тихо и серьезно произнес он.

— Вы явно хотите заинтриговать нас, — воскликнула Алевтина, — и с какой торжественностью!

— Ну, хорошо, — поторопила его Аделина, — но если вы такой знаток лиц, то наверняка были влюблены. Я угадала, значит. Рассказывайте же!

— Я не был влюблен, — ответил Кирилл так же тихо и серьезно, — я... был счастлив иначе.

— Как же? В чем?

— Хорошо, я вам расскажу, — проговорил Кирилл, словно погрузившись в глубокие раздумья.

VI.

— Знаете, — начал Арсений, — вы все смотрите на меня с таким интересом, словно я какой-то диковинный зверь. Если я не удовлетворю ваше любопытство, вы, чего доброго, еще и обидитесь. Хотя, ладно, шучу, — быстро добавил он с улыбкой. — Там... там были дети, и я все время был с ними, только с детьми. Это были ребята из поселка, целая орава, которые ходили в местную школу. Я не то чтобы учил их, нет, конечно, для этого был преподаватель, Олег Петрович; я, может, и помогал ему немного, но в основном просто был рядом, и так прошли мои четыре года. Мне больше ничего и не нужно было. Я говорил им все, ничего не скрывал. Их родители и родственники сначала злились, потому что дети без меня шагу ступить не могли и постоянно крутились вокруг меня. А Олег Петрович в итоге стал моим злейшим врагом. У меня там вообще много недоброжелателей появилось, и все из-за детей. Даже дядя Костя упрекал меня. И чего они так боялись? Ребенку можно рассказать все, абсолютно все. Меня всегда удивляло, как взрослые плохо знают детей, даже собственные родители. От детей не нужно ничего скрывать, прикрываясь тем, что они еще маленькие и им рано знать. Какая же это грустная и глупая мысль! А дети прекрасно чувствуют, когда родители считают их несмышлянышками, хотя они все понимают. Взрослые не понимают, что ребенок может дать очень важный совет даже в самом сложном деле. Боже мой! Когда на тебя смотрит этот маленький доверчивый человечек, тебе ведь стыдно его обмануть! Я их поэтому и называю птенчиками, ведь нет ничего лучше на свете, чем птенчик. Впрочем, на меня в поселке все разозлились из-за одного случая... А Олег Петрович просто завидовал; сначала он качал головой и удивлялся, почему дети меня понимают с полуслова, а его — почти нет, а потом начал смеяться надо мной, когда я сказал, что мы оба ничему их не научим, а они еще нас научат. И как он мог мне завидовать и клеветать на меня, когда сам работал с детьми! Через детей душа исцеляется... Там был один пациент в клинике дяди Кости, очень несчастный человек. У него была такая страшная траге-

дия, что трудно себе представить. Его поместили туда на лечение от психического расстройства; по-моему, он не был сумасшедшим, он просто очень страдал, вот и вся его болезнь. И если бы вы знали, кем стали для него наши дети... Но про этого человека я вам лучше расскажу потом; сейчас я расскажу, как все начиналось. Дети сначала не полюбили меня. Я был такой большой, всегда неуклюжий; я знаю, что и внешне не вышел... и еще то, что я был приезжий. Дети сначала смеялись надо мной, а потом даже начали кидать в меня камни, когда увидели, как я поцеловал Свету. А я всего один раз ее поцеловал... Нет, не смейтесь, – поспешил остановить улыбку слушательниц Арсений, – там не было никакой любви. Если бы вы знали, что это было за несчастное создание, вам бы самим стало ее очень жаль, как и мне. Она была из нашего поселка. Мать ее была старая женщина, и у нее, в их маленьком, совсем покосившемся домике, в два окна, было отгорожено одно окно, по разрешению местной администрации; из этого окна ей разрешали продавать шнурки, нитки, табак, мыло, все по мелочи, этим она и жила. Она была больна, и у нее все ноги опухали, так что она все время сидела на месте. Свете было лет двадцать, она была слабая и худенькая; у нее давно начинался туберкулез, но она все ходила по домам на поденную работу – мыла полы, стирала белье, убирала дворы, чистила скот. Однажды какой-то заезжий коммивояжер соблазнил ее и увез, а через неделю бросил ее на трассе и тихо уехал. Она вернулась домой, попрошайничая, вся грязная, в лохмотьях, с оборванными ботинками; шла она пешком целую неделю, ночевала в поле и сильно простудилась; ноги были в ранах, руки опухли и потрескались. Впрочем, она и раньше не была красавицей; только глаза были тихие, добрые, невинные. Она была ужасно молчаливой. Однажды, еще до этого, она вдруг запела во время работы, и я помню, что все удивились и начали смеяться: «Света запела! Не может быть! Света запела!» и она ужасно смутилась, и с тех пор навсегда замолчала. Тогда ее еще жалели, но когда она вернулась больная и измученная, никто ей не сочувствовал! Какие же они жестокие в этом! Какие у них тяжелые предрассудки! Мать первая встретила ее со злобой и презрением: «Ты меня теперь опозорила». Она первая ее и выставила на посмешище: когда в поселке узнали, что Света вернулась, все побежали смотреть на нее, чуть ли не все жители сбегались в дом к старухе: старики, дети, женщины, девушки, все, такой торопливой, жадной толпой. Света лежала на полу, у ног старухи, голодная, оборванная и плакала. Когда все набегали, она закрылась своими спутанными волосами и прижалась лицом к полу. Все вокруг смотрели на нее, как на змею; старики осуждали и ругали, молодые даже смеялись, женщины бранили ее, осуждали, смотрели с презрением, как на какого-то паука. Мать все это позволяла, сама тут сидела, кивала головой и одобряла. Мать в то время была уже очень больна и почти умирала; через два месяца она и в самом деле умерла; она знала, что умирает, но так и не помирилась с дочерью до самой смерти, даже не говорила с ней ни слова, гнала ее спать в сени, почти не кормила. Ей нужно было часто опускать свои больные ноги в теплую воду; Света каждый день мыла ей ноги и ухаживала за ней; она принимала все ее услуги молча и ни разу не сказала ей ласкового слова. Света все терпела, и я потом, когда познакомился с ней, заметил, что она и сама все это одобряла, и сама считала себя последней тварью. Когда старуха слегла совсем, за ней стали ухаживать деревенские старухи, по очереди, так у них было заведено. Тогда Свету совсем перестали кормить; а в поселке все ее гнали, и никто даже не хотел давать ей работу, как раньше. Все словно плевали на нее, а мужчины даже за женщину перестали ее считать, говорили ей всякие гадости. Иногда, очень редко, когда пьяные напивались в воскресенье, для смеха бросали ей монеты, прямо на землю; Света молча поднимала их. Она уже тогда начала кашлять кровью. Наконец, ее лохмотья превратились в тряпье, так что стыдно было показаться в поселке; она ходила босиком с самого возвращения. И вот тут-то дети, особенно школьники, человек сорок, начали дразнить ее и даже кидать в нее грязью. Она попросилась к пастуху, чтобы он разрешил ей пасти коров, но пастух прогнал ее. Тогда она сама, без разрешения, стала уходить со стадом на целый день из дома. Так как она приносила пастуху большую пользу, и он это заметил, он перестал ее прогонять и иногда даже давал ей

остатки своего обеда, сыр и хлеб. Он считал это великой милостью со своей стороны. Когда же мать умерла, священник в церкви не постыдился публично опозорить Свету. Света стояла за гробом, как была, в своих лохмотьях, и плакала. Собралось много народу посмотреть, как она будет плакать и идти за гробом; тогда священник, он был еще молодой человек, и вся его амбиция заключалась в том, чтобы стать известным проповедником, обратился ко всем и указал на Свету. «Вот кто был причиной смерти этой уважаемой женщины» (и это неправда, потому что та уже два года была больна), «вот она стоит перед вами и не смеет поднять глаз, потому что она отмечена перстом божьим; вот она босая и в лохмотьях – пример тем, кто теряет добродетель! Кто же она? Это ее дочь!» и все в этом роде. И представьте себе, эта низость почти всем понравилась, но... тут произошла необычная история; тут вступились дети, потому что в это время дети уже были на моей стороне и стали любить Свету. Вот как это произошло. Мне захотелось что-нибудь сделать для Светы; ей очень нужны были деньги, но у меня там никогда не было ни копейки. У меня была маленькая бриллиантовая булавка, и я продал ее одному перекупщику; он ездил по деревням и торговал старой одеждой. Он дал мне восемьсот рублей, а она стоила тысяч сорок. Я долго старался встретить Свету одну; наконец, мы встретились за поселком, у изгороди, на боковой тропинке в гору, за деревом. Там я дал ей восемьсот рублей и сказал, чтобы она берегла их, потому что у меня больше не будет, а потом поцеловал ее и сказал, чтобы она не думала, что у меня какие-то плохие намерения, и что я целую ее не потому, что влюблен в нее, а потому, что мне ее очень жаль, и что я с самого начала не считаю ее виноватой, а только несчастной. Мне очень хотелось утешить ее и убедить, что она не должна считать себя такой ничтожной перед всеми, но она, кажется, не поняла. Я это сразу заметил, хотя она почти все время молчала и стояла передо мной, опустив глаза и ужасно стесняясь. Когда я закончил, она поцеловала мне руку, и я тут же взял ее руку и хотел поцеловать, но она быстро отдернула ее. Вдруг в это время нас подглядели дети, целая толпа; я потом узнал, что они давно за мной следили. Они начали свистеть, хлопать в ладоши и смеяться, а Света бросилась бежать. Я хотел что-то сказать, но они начали кидать в меня камни. В тот же день все узнали, весь поселок. Все опять обрушилось на Свету: ее стали еще больше ненавидеть. Я слышал даже, что ее хотели приговорить к наказанию, но, слава богу, этого не произошло; зато дети не давали ей прохода, дразнили еще больше, кидались грязью; гонят ее, она бежит от них, задыхаясь, а они за ней, кричат, ругаются. Однажды я даже подрался с ними. Потом я стал с ними разговаривать, говорил каждый день, когда только мог. Они иногда останавливались и слушали, хотя все еще ругались. Я рассказал им, какая Света несчастная; скоро они перестали ругаться и стали уходить молча. Постепенно мы стали разговаривать, я от них ничего не скрывал; я им все рассказал. Они слушали с любопытством и скоро стали жалеть Свету. Некоторые, встречаясь с ней, стали здороваться с ней по-доброму; у них там принято, встречая друг друга, знакомые или нет, кланяться и говорить: «Здравствуйте». Представляю, как Света удивлялась. Однажды две девочки принесли ей еды и отдали ей, а потом пришли и рассказали мне. Они сказали, что Света расплакалась, и что они теперь ее очень любят. Скоро все стали любить ее, а вместе с тем и меня вдруг стали любить. Они стали часто приходиться ко мне и просили, чтобы я им рассказывал; мне кажется, что я хорошо рассказывал, потому что они очень любили меня слушать. А впоследствии я и учился, и читал все только для того, чтобы потом им рассказать, и все три года потом я им рассказывал. Когда потом все меня обвиняли, дядя Костя тоже, зачем я говорю с ними как со взрослыми и ничего от них не скрываю, то я им отвечал, что лгать им стыдно, что они и без того все знают, как ни скрывай от них, и узнают, пожалуй, плохо, а от меня узнают хорошо. Стоило только каждому вспомнить, как он сам был ребенком. Они не соглашались... Я поцеловал Свету еще за две недели до того, как ее мать умерла; когда же священник говорил проповедь, все дети уже были на моей стороне. Я им тут же рассказал и объяснил поступок священника; все на него разозлились, а некоторые до того, что разбили ему камнями стекла в окнах. Я их остановил, потому что это уже было

плохо; но тут же в поселке все узнали, и вот тут и начали обвинять меня, что я испортил детей. Потом все узнали, что дети любят Свету, и ужасно перепугались; но Света уже была счастлива. Детям запретили даже встречаться с ней, но они бегали к ней тайком в стадо, довольно далеко, почти в полукилометре от поселка; они носили ей гостинцы, а некоторые просто прибежали для того, чтобы обнять ее, поцеловать, сказать: «Я вас люблю, Света!» и потом стремглав бежать назад. Света чуть с ума не сошла от такого внезапного счастья; ей это даже и не снилось; она стеснялась и радовалась, а главное, детям хотелось, особенно девочкам, бегать к ней, чтобы передавать ей, что я ее люблю и много о ней говорю. Они ей рассказали, что это я им все рассказал, и что они теперь ее любят и жалеют и всегда так будут. Потом забежали ко мне и с такими радостными, хлопотливыми личиками передавали, что они только что видели Свету, и что Света мне кланяется. По вечерам я ходил к водопаду; там было одно совсем укромное место, закрытое со стороны поселка, и кругом росли тополя; туда-то они ко мне по вечерам и сбегались, некоторые даже украдкой. Мне кажется, для них было огромным наслаждением моя любовь к Свете, и вот в этом одном, во всю мою тамошнюю жизнь, я и обманул их. Я не разуверял их, что я вовсе не люблю Свету, то есть не влюблен в нее, что мне ее только очень жаль было; я по всему видел, что им так больше хотелось, как они сами вообразили и решили, и поэтому молчал и показывал вид, что они угадали. И до какой степени были деликатны и нежны эти маленькие сердца: им, между прочим, показалось невозможным, что их добрый Арсений так любит Свету, а Света так плохо одета и без обуви. Представьте себе, они достали ей и обувь, и чулки, и белье, и даже какое-то платье; как они это ухитрились, не понимаю; всей ватагой работали. Когда я их спрашивал, они только весело смеялись, а девочки хлопали в ладоши и целовали меня. Я иногда тоже ходил тайком повидаться со Светой. Она уже становилась очень больна и едва ходила; наконец, перестала совсем помогать пастуху, но все-таки каждое утро уходила со стадом. Она садилась в стороне; там у одной, почти отвесной скалы был выступ; она садилась в самый угол, закрытый от всех, на камень и сидела почти без движения весь день, с самого утра до того часа, когда стадо уходило. Она уже была так слаба от туберкулеза, что все больше сидела с закрытыми глазами, прислонив голову к скале, и дремала, тяжело дыша; лицо ее похудело, как у скелета, и пот проступал на лбу и на висках. Так я всегда ее заставал. Я приходил на минуту, и мне тоже не хотелось, чтобы меня видели. Как только я появлялся, Света тут же вздрагивала, открывала глаза и бросалась целовать мне руки. Я уже не отнимал их, потому что для нее это было счастьем; она все время, пока я сидел, дрожала и плакала; правда, несколько раз она пыталась что-то сказать, но ее трудно было понять. Она была как безумная, в ужасном волнении и восторге. Иногда дети приходили со мной. В таком случае они обычно становились неподалеку и начинали нас охранять от чего-то и от кого-то, и это было для них необыкновенно приятно. Когда мы уходили, Света опять оставалась одна, по-прежнему без движения, закрыв глаза и прислонившись головой к скале; она, может быть, о чем-нибудь мечтала. Однажды утром она уже не смогла выйти к стаду и осталась у себя в пустом доме. Дети тут же узнали и почти все побывали у нее в этот день, чтобы навестить ее; она лежала в своей постели одна-одинешенька. Два дня за ней ухаживали одни дети, забегая по очереди, но потом, когда в поселке прослышали, что Света уже умирает, к ней стали ходить из поселка старухи сидеть и дежурить. В поселке, кажется, стали жалеть Свету, по крайней мере детей уже не останавливали и не ругали, как прежде. Света все время была в дремоте, сон у нее был беспокойный: она ужасно кашляла. Старухи отгоняли детей, но те подбегали под окно, иногда только на одну минуту, чтобы сказать: «Здравствуйте, наша добрая Света». А та, только увидит или услышит их, вся оживлялась и тут же, не слушая старух, пыталась приподняться на локоть, кивала им головой, благодарила. Они по-прежнему приносили ей гостинцы, но она почти ничего не ела. Через них, уверяю вас, она умерла почти счастливой. Через них она забыла свою черную беду, словно приняла от них прощение, потому что до самого конца считала себя великой преступницей. Они, как птички, бились крылышками в ее

окна и кричали ей каждое утро: «Мы тебя любим, Света». Она очень скоро умерла. Я думал, она проживет гораздо дольше. Накануне ее смерти, перед закатом солнца, я к ней заходил; кажется, она меня узнала, и я в последний раз пожал ее руку; как иссохла у нее рука! А тут вдруг утром приходят и говорят мне, что Света умерла. Тут детей и удержать нельзя было: они украсили ей весь гроб цветами и надели ей венок на голову. Священник в церкви уже не позорил мертвую, да и на похоронах было очень мало народу, так, только из любопытства зашли некоторые; но когда нужно было нести гроб, дети бросились все разом, чтобы самим нести. Так как они не могли снести его, то помогали, все бежали за гробом и все плакали. С тех пор могилка Светы постоянно почиталась детьми: они украшают ее каждый год цветами, обсадили кругом розами. Но с этих похорон и начались мои главные неприятности со всем поселком из-за детей. Главными зачинщиками были священник и школьный учитель. Детям категорически запретили даже встречаться со мной, а дядя Костя даже обязался следить за этим. Но мы все равно виделись, издали общались знаками. Они присылали мне свои маленькие записочки. Впоследствии все это уладилось, но тогда было очень тяжело: я даже еще больше сблизился с детьми из-за этих гонений. В последний год я даже почти помирился с Олегом Петровичем и со священником. А дядя Костя много говорил и спорил со мной о моей вредной «системе» с детьми. Какая у меня система! Наконец, дядя Костя высказал мне одну очень странную мысль, это было уже перед самым моим отъездом, он сказал мне, что он полностью убедился, что я сам совершенный ребенок, то есть полностью ребенок, что я только ростом и лицом похож на взрослого, но что развитием, душой, характером и, может быть, даже умом я не взрослый, и таким и останусь, даже если проживу до шестидесяти лет. Я очень смеялся: он, конечно, неправ, потому что какой же я маленький? Но одно только правда: я и в самом деле не люблю быть со взрослыми, с людьми, с большими, и это я давно заметил, не люблю, потому что не умею. Что бы они ни говорили со мной, как бы добры ко мне ни были, все равно с ними мне всегда как-то тяжело, и я ужасно рад, когда могу поскорее уйти к товарищам, а товарищи мои всегда были дети, но не потому, что я сам был ребенок, а потому, что меня просто тянуло к детям. Когда я, еще в начале моей жизни в поселке, когда я уходил тосковать один в горы, когда я, бродя один, стал встречать иногда, особенно в полдень, когда выпускали из школы, всю эту шумную ватагу, бегущую с их рюкзаками и планшетами, с криком, со смехом, с играми, то вся моя душа начинала вдруг стремиться к ним. Не знаю, но я стал ощущать какое-то чрезвычайно сильное и счастливое ощущение при каждой встрече с ними. Я останавливался и смеялся от счастья, глядя на их маленькие, мелькающие и вечно бегущие ножки, на мальчиков и девочек, бегущих вместе, на смех и слезы (потому что многие уже успевали подраться, расплакаться, опять помириться и поиграть, пока добежали из школы до дома), и я забывал тогда всю свою тоску. Потом же, во все эти три года, я и понять не мог, как тоскуют и зачем тоскуют люди? Вся моя жизнь была посвящена им. Я никогда и не думал покидать поселок, и мне в голову не приходило, что я когда-нибудь поеду сюда, в Россию. Мне казалось, что я всегда буду там, но я увидел, наконец, что дядя Костя не может же содержать меня вечно, а тут подвернулось дело, кажется, такое важное, что дядя Костя сам поторопил меня ехать и за меня поручился здесь. Я вот посмотрю, что это такое и с кем-нибудь посоветуюсь. Может, моя судьба совсем изменится, но это все не то и не главное. Главное в том, что уже изменилась вся моя жизнь. Я сидел в вагоне и думал: «Теперь я иду к людям; я, может быть, ничего не знаю, но наступила новая жизнь». Я решил исполнить свое дело честно и твердо. С людьми мне будет, может быть, скучно и тяжело. На первый случай я решил быть со всеми вежливым и откровенным; больше от меня ведь никто не потребует. Может быть, и здесь меня сочтут за ребенка, так пусть! Меня тоже за а считают все почему-то, я действительно был так болен когда-то, что тогда и похож был на а; но какой же я теперь, когда я сам понимаю, что меня считают за а? Я вхожу и думаю: «Вот меня считают за а, а я все-таки умный, а они и не догадываются...» У меня часто эта мысль. Когда я в Берлине получил от них несколько маленьких писем, которые они уже успели

мне написать, то тут только я и понял, как их любил. Очень тяжело получить первое письмо! Как они тосковали, провожая меня! Еще за месяц начали провожать: «Арсений уезжает, Арсений уезжает навсегда!» Мы каждый вечер собирались по-прежнему у водопада и все говорили о том, как мы расстанемся. Иногда было так же весело, как и прежде; только, расходясь на ночь, они стали крепко и горячо обнимать меня, чего не было раньше. Некоторые забегали ко мне тайком от всех, по одному, для того только, чтобы обнять и поцеловать меня наедине, не при всех. Когда я уже отправлялся в путь, все, всей гурьбой, провожали меня до станции. Железнодорожная станция была примерно в километре от нашего поселка. Они сдерживались, чтобы не плакать, но многие не могли и плакали в голос, особенно девочки. Мы спешили, чтобы не опоздать, но кто-нибудь вдруг из толпы бросался ко мне посреди дороги, обнимал меня своими маленькими ручонками и целовал, только для этого и останавливал всю толпу; а мы хоть и спешили, но все останавливались и ждали, пока он простится. Когда я сел в вагон, и вагон тронулся, они все мне прокричали: «Ура!» и долго стояли на месте, пока совсем не ушел вагон. И я тоже смотрел... Послушайте, когда я вошел сюда и посмотрел на ваши милые лица, я теперь очень всматриваюсь в лица, и слышал ваши первые слова, то у меня впервые с того времени стало легко на душе. Я уже подумал, что, может быть, я и впрямь счастливчик: я ведь знаю, что таких людей, которых сразу полюбишь, не скоро встретишь, а я вас, только что из вагона вышел, сразу встретил. Я очень хорошо знаю, что о своих чувствах говорить всем стыдно, а вот вам я говорю, и с вами мне не стыдно. Я нелюдим и, может быть, долго к вам не приду. Не подумайте только плохого: я не из-за того сказал, что вами не дорожу, и не подумайте тоже, что я чем-нибудь обиделся. Вы спрашивали меня про ваши лица и что я заметил в них? Я вам с большим удовольствием это скажу. У вас, Антонина Ивановна, счастливое лицо, из всех трех лиц самое симпатичное. Кроме того, что вы очень хороши собой, на вас смотришь и говоришь: «У нее лицо, как у доброй сестры». Вы подходите просто и весело, но и сердце умеете быстро разглядеть. Вот так мне кажется про ваше лицо. У вас, Александра Ивановна, лицо тоже прекрасное и очень милое, но, может быть, у вас есть какая-нибудь тайная грусть; душа у вас, без сомнения, добрейшая, но вы не веселы. У вас какой-то особенный оттенок в лице, похоже как у Гольбейновой Мадонны в Дрездене. Ну, вот и про ваше лицо; хорош я угадчик? Сами же вы меня за угадчика считаете. Но про ваше лицо, Елизавета Петровна, — обратился он вдруг к генеральше, — про ваше лицо мне не только кажется, а я просто уверен, что вы совершенный ребенок, во всем, во всем, во всем хорошем и во всем дурном, несмотря на то, что вы в таких летах. Вы ведь на меня не сердитесь, что я это так говорю? Ведь вы знаете, за кого я детей почитаю? И не подумайте, что я с простоты все это откровенно сказал вам про ваши лица; о, нет, совсем нет! Может быть, и я свою мысль имел.

VII.

Когда Ярослав замолчал, все смотрели на него с улыбками, даже и Вероника, но особенно Антонина Петровна.

— Ну вот, и проверили! — воскликнула она. — Что, милые барышни, думали, что вы будете его опекать, как бедняжку, а он сам вас еще едва удостоил выбрать, да еще с условием, что будет приходить только иногда. Вот мы и в дураках, и я рада; а больше всего Иван Тихонович. Bravo, Ярослав, вас только что велели протестировать. А то, что вы про мое лицо сказали, то все чистая правда: я ребенок и знаю это. Я еще до вас знала про это; вы точно выразили мою мысль одним словом. Ваш характер я считаю очень похожим на мой и очень рада; как две капли воды. Только вы мужчина, а я женщина и в Сочи не была; вот и вся разница.

— Не торопитесь, мама, — воскликнула Вероника, — Ярослав говорит, что во всех своих признаниях особую мысль имел и не просто так говорил.

— Да, да, — смеялись другие.

— Не шутите, милые, еще он, может быть, хитрее всех вас троих вместе. Увидите. Но только что ж вы, Ярослав, про Веронику ничего не сказали? Вероника ждет, и я жду.

— Я ничего не могу сейчас сказать; я скажу позже.

— Почему? Кажется, незаметна?

— О да, заметна; вы необыкновенная красавица, Вероника Ивановна. Вы так хороши, что на вас боишься смотреть.

— И только? А качества? — настаивала генеральша.

— Красоту трудно оценивать; я еще не готов. Красота — загадка.

— Это значит, что вы Веронике загадали загадку, — сказала Алевтина; — разгадай-ка, Вероника. А хороша она, Ярослав, хороша?

— Необычайно! — с жаром ответил Ярослав, с восторгом взглянув на Веронику; — почти как Инна Филипповна, хотя лицо совсем другое!...

Все переглянулись в удивлении.

— Как кто-о-о? — протянула генеральша: — как Инна Филипповна? Где вы видели Инну Филипповну? Какая Инна Филипповна?

— Только что Гавриил Ардалионович Ивану Тихоновичу фото показывал.

— Как, Ивану Тихоновичу фото принес?

— Показать. Инна Филипповна подарила сегодня Гавриилу Ардалионовичу свое фото, а тот принес показать.

— Я хочу видеть! — вскинулась генеральша: — где это фото? Если ей подарила, так и должно быть у него, а он, конечно, еще в кабинете. По средам он всегда приходит работать и никогда раньше четырех не уходит. Позвать сейчас Гавриила Ардалионовича! Нет, я не слишком-то горю желанием его видеть. Сделайте одолжение, Ярослав, голубчик, сходите в кабинет, возьмите у него фото и принесите сюда. Скажите, что посмотреть. Пожалуйста.

— Хорош, да уж простоват слишком, — сказала Алевтина, когда вышел Ярослав.

— Да, уж что-то слишком, — подтвердила Александра, — так что даже и смешон немножко.

И та, и другая как будто не договаривали всю свою мысль.

— Он, впрочем, хорошо с нашими лицами вывернулся, — сказала Вероника, — всем польстил, даже и маман.

— Не остри, пожалуйста, — воскликнула генеральша. — Не он польстил, а я польщена.

— Ты думаешь, он выкручивался? — спросила Алевтина.

— Мне кажется, он не так прост.

— Да ладно вам! — фыркнула Антонина Петровна. — По-моему, вы еще нелепее. Простодушный, но себе на уме, в самом хорошем смысле. Прямо как я.

"Плохо, что я про фото проболтался, — думал про себя Кирилл, направляясь в кабинет и чувствуя легкий укол совести. — Но... может, и к лучшему, что проговорился..." В его голове начала формироваться странная мысль, пока еще не совсем четкая.

Григорий Ардалионович все еще сидел в кабинете, поглощенный бумагами. Видно, не зря зарплату в инвестиционном фонде получал. Он заметно занервничал, когда Кирилл спросил про фото и рассказал, как о нем узнали.

— Эх! Зачем лягнули! — воскликнул он с досадой. — Ничего вы не понимаете... Простофиля! — пробормотал он про себя.

— Виноват, не подумал; к слову пришлось. Я сказал, что Ирина почти так же хороша, как Вероника Филипповна.

Григорий попросил рассказать подробнее; Кирилл рассказал. Григорий снова усмехнулся.

— Привязались же вы к этой Веронике Филипповне... — пробормотал он, но, не договорив, задумался. Он был явно взволнован. Кирилл напомнил о фото. — Послушайте, Кирилл, — вдруг сказал Григорий, словно его осенило: — у меня к вам огромная просьба... Но я, честно говоря, не знаю...

Он замялся и не договорил; он что-то решал и словно боролся с собой. Кирилл молча ждал. Григорий еще раз испытующе оглядел его.

– Кирилл, – начал он снова, – там на меня сейчас... по одному совершенно дурацкому обстоятельству... и смешному... и в котором я не виноват... ну, в общем, неважно, – там на меня, кажется, немного обижены, поэтому я не хочу туда соваться без приглашения. Мне срочно нужно поговорить с Ириной Ивановной. Я на всякий случай написал пару слов (в его руке оказалась маленькая сложенная бумажка) – и вот не знаю, как передать. Не могли бы вы, Кирилл, передать Ирине Ивановне, сейчас, но только ей одной, так, чтобы никто не видел, понимаете? Это не какой-то секрет, тут нет ничего такого... но... сделаете?

– Мне это не совсем удобно, – ответил Кирилл.

– Ах, Кирилл, мне очень нужно! – взмолился Григорий. – Может, она ответит... Поверьте, только в самом крайнем случае я бы обратился... Кого же мне послать?.. Это очень важно... Для меня это критически важно...

Григорий очень боялся, что Кирилл откажется, и с робкой надеждой смотрел ему в глаза.

– Ладно, я передам.

– Но только так, чтобы никто не заметил, – умолял обрадованный Григорий. – И вот что, Кирилл, я надеюсь, на ваше честное слово, а?

– Я никому не покажу, – сказал Кирилл.

– Записка не запечатана, но... – проговорился слишком взволнованный Григорий и замолчал в замешательстве.

– О, я не прочту, – просто ответил Кирилл, взял фото и вышел из кабинета.

Григорий, оставшись один, схватился за голову.

– Одно ее слово, и я... и я, наверное, все брошу!..

Он больше не мог усидеть за документами, нервы были на пределе от волнения и предвкушения, и начал мерить шагами свой кабинет, перемещаясь из одного угла в другой.

Артем шел, погруженный в раздумья; его неприятно задело поручение, и мысль о записке, которую Гоша передал Ларисе, тоже не добавляла оптимизма. Но, не дойдя пары комнат до гостиной, он внезапно остановился, словно что-то вспомнив, огляделся по сторонам, подошел к окну, поближе к свету, и уставился на фотографию Алины Сергеевны.

Ему словно хотелось понять что-то, скрытое в этом лице, что так поразило его тогда. То давнее впечатление почти не отпускало его, и теперь он как будто спешил что-то перепроверить. Это лицо, необыкновенное по своей красоте и еще чему-то, сейчас поразило его еще сильнее. Словно безмерная гордость и презрение, почти ненависть, читались в нем, и в то же время что-то доверчивое, удивительно наивное; эти два контраста вызвали даже какое-то сочувствие при взгляде на эти черты. Эта ослепительная красота была почти невыносима, красота бледного лица, слегка запавших щек и горящих глаз; странная красота! Артем смотрел с минуту, потом вдруг опомнился, огляделся вокруг, быстро притянул фотографию к губам и поцеловал ее. Когда через минуту он вошел в гостиную, его лицо было совершенно невозмутимым.

Но едва он переступил порог столовой (еще одна комната от гостиной), как в дверях почти столкнулся с выходящей Ларисой. Она была одна.

– Гоша Ардалионович просил меня передать вам это, – сказал Артем, протягивая ей записку.

Лариса остановилась, взяла записку и как-то странно посмотрела на Артема. Ни тени смущения не было в ее взгляде, разве что мелькнуло некоторое удивление, да и то, казалось, относившееся только к Артему. Лариса своим взглядом словно требовала от него объяснений – как он оказался в этом деле вместе с Гошей? – и требовала спокойно и свысока. Они простояли два-три мгновения друг напротив друга; наконец что-то насмешливое едва заметно промелькнуло в ее лице; она слегка улыбнулась и прошла мимо.

Марина Викторовна некоторое время, молча и с некоторым оттенком пренебрежения, рассматривала фотографию Алины Сергеевны, которую она держала перед собой на вытянутой руке, демонстративно и эффектно отдалив от глаз.

– Да, хороша, – произнесла она наконец, – очень даже. Я пару раз ее видела, но только издалека. Так вы такую красоту цените? – обратилась она вдруг к Артему.

– Да... такую... – ответил Артем с некоторым усилием.

– То есть именно такую?

– Именно такую.

– За что?

– В этом лице... много страдания... – произнес Артем, словно невольно, словно разговаривая сам с собой, а не отвечая на вопрос.

– Вы, впрочем, возможно, бредите, – решила Марина Викторовна и надменным жестом отбросила фотографию на стол. Александра взяла ее, к ней подошла Аделина, обе стали рассматривать. В этот момент Лариса снова вошла в гостиную.

– Какая сила! – вдруг воскликнула Аделина, жадно вглядываясь в фотографию из-за плеча сестры.

– Где? Какая сила? – резко спросила Елизавета Прокофьевна.

– Такая красота – это оружие, – пылко заявила Алевтина, – с такой внешностью можно горы свернуть!

Она рассеянно отошла к своему этюднику. Глафира лишь мимолетно взглянула на портрет, прищурилась, слегка выпятила нижнюю губу, отошла в сторону и села, скрестив руки на коленях.

Елизавета Павловна нажала кнопку вызова на столе.

– Позвать сюда Родиона Игнатьевича, он в переговорной, – распорядилась она вошедшей горничной.

– Мам! – многозначительно протянула Антонина.

– Я хочу ему пару слов сказать – и все! – резко оборвала ее Елизавета Павловна, пресекая возражения. Она была явно взвинчена. – У нас, видите ли, тут теперь конспирация, прямо как в шпионском романе! Все в секрете! Какой-то дурацкий протокол, честное слово. И это в таком деле, где нужна полная открытость, ясность, порядочность. Затеваются тут браки, которые мне совсем не по душе...

– Мам, ну что ты такое говоришь? – поспешила остановить ее Антонина.

– Да что тебе, доченька! Тебе самой-то они нравятся? А то, что Кирилл слушает, так мы с ним друзья. Я, по крайней мере, с ним откровенна. Бог ищет людей хороших, разумеется, а злые и взбалмошные ему не нужны; особенно взбалмошные, которые сегодня одно решают, а завтра другое. Понимаешь, Антонина Ивановна? Они, Кирилл, говорят, что я странная, но я людей насквозь вижу. Потому что главное – это душа, а остальное – ерунда. Хотя ум тоже важен, конечно... может, ум даже самое главное. Не ухмыляйся, Глафира, я себе не противоречу: дура с добрым сердцем, но без мозгов – такая же несчастная дура, как и дура с умом, но без сердца. Старая истина. Я вот, наверное, дура с сердцем, но без ума, а ты дура с умом, но без сердца; обе мы несчастны, обе страдаем.

– Да чем же вы так уж несчастны, мам? – не выдержала Алевтина, которая, кажется, единственная из всей компании сохраняла бодрое расположение духа.

– Во-первых, от ученых дочерей, – отрезала Елизавета Павловна, – а так как этого и одного достаточно, то об остальном и говорить нечего. Хватит болтать. Посмотрим, как вы обе (Глафиру я не считаю) с вашим умом и красноречием выкрутитесь, и будешь ли ты, многоуважаемая Антонина Ивановна, счастлива со своим почтенным кавалером?.. А!.. – воскликнула она, увидев входящего Родиона: – вот еще один брачный кандидат пожаловал. Здравствуйте! – ответила она на поклон Родиона, не предложив ему сесть. – Вы женитесь?

– Жениться?.. Как?.. На ком?.. – пробормотал ошеломленный Родион Игнатьевич. Он ужасно смутился.

– Вы собираетесь вступить в брак? спрашиваю я, если вам так больше нравится?

– Н-нет... я... н-нет, – соврал Родион Игнатьевич, и краска стыда залила его лицо. Он украдкой взглянул на сидевшую в стороне Глафиру и быстро отвел глаза. Глафира холодно, пристально, спокойно смотрела на него, не отрывая глаз, и наблюдала за его замешательством.

– Нет? Вы сказали: нет? – настойчиво допытывалась неумолимая Елизавета Павловна; – хорошо, я запомню, что вы сегодня, в среду утром, на мой вопрос ответили мне: "нет". Что у нас сегодня, среда?

– Кажется, среда, мам, – ответила Алевтина.

– Вечно дней не знают. Какое число?

– Двадцать седьмое, – ответил Родион.

– Двадцать седьмое? Прекрасно, если верить расчетам. Прощайте, у вас, вижу, много дел, а мне пора собираться и ехать. Заберите ваш портрет. Передайте мой поклон бедняжке Ирине Петровне. До свидания, мой дорогой князь! Заходите почаще, а я к старой Ковалевой специально заеду, расскажу о вас. И послушайте, душенька: я уверена, что вас сам Бог послал ко мне в Москву из вашей Швейцарии. Возможно, у вас будут и другие дела, но главное – я. Бог именно так все устроил. До свидания, мои хорошие. Александра, зайди ко мне, милая.

Генеральша вышла. Артем, подавленный, растерянный, злой, схватил со стола портрет и с кривой усмешкой повернулся к князю.

– Князь, я сейчас домой. Если вы не передумали жить у нас, я вас провожу, а то вы и адреса не знаете.

– Подождите, князь, – сказала Глафира, вдруг поднимаясь со своего кресла, – вы мне еще в альбоме напишете. Папа сказал, вы мастер каллиграфии. Я сейчас принесу...

И она вышла.

– До свидания, князь, я тоже ухожу, – сказала Антонина. Она крепко пожала руку князю, приветливо и ласково улыбнулась ему и вышла. На Артема она даже не взглянула.

– Это вы, – прошипел Артем, внезапно набрасываясь на князя, как только все вышли, – это вы им растрепали, что я женюсь! – бормотал он торопливым полупшепотом, с искаженным лицом и злобно сверкая глазами. – Бесстыжий вы сплетник!

– Уверяю вас, вы ошибаетесь, – спокойно и вежливо ответил князь, – я и не знал, что вы женитесь.

– Вы слышали, как Иван Федорович говорил, что сегодня вечером все решится у Вероники Филипповны, вы это и передали! Врете вы! Откуда они могли узнать? Кто же, черт возьми, мог им передать, кроме вас? Разве старуха не намекала мне?

– Вам лучше знать, кто передал, если вам только кажется, что вам намекали. Я ни слова об этом не говорил.

– Передали сообщение? Ответ? – с лихорадочным нетерпением перебил его Артем. Но в этот момент вернулась Глафира, и князь ничего не успел ответить.

– Вот, князь, – сказала Глафира, кладя на столик свой альбом, – выберите страницу и напишите мне что-нибудь. Вот перо, совсем новое. Ничего, что стальное? Каллиграфы, я слышала, стальными не пишут.

Разговаривая с князем, она как будто не замечала, что Артем тут же. Но пока князь поправлял перо, искал страницу и готовился, Артем подошел к камину, где стояла Глафира, прямо справа от князя, и дрожащим, прерывающимся голосом проговорил ей почти на ухо:

– Одно слово, только одно слово от вас – и я спасен.

Князь быстро повернулся и посмотрел на них обоих. В лице Артема было настоящее отчаяние; казалось, он выговорил эти слова как-то не думая, безрассудно. Глафира смотрела на него несколько секунд с тем же спокойным удивлением, как и на князя, и, казалось, это

спокойное удивление, это недоумение, как бы от полного непонимания того, что ей говорят, было в эту минуту для Артема страшнее самого сильного презрения.

– Что же мне написать? – спросил князь.

– Сейчас продиктую, – произнесла Алевтина, повернувшись к Артему. – Готовы? Пишите: "В торгах не участвую". А теперь дату и подпись. Покажите.

Артем протянул ей блокнот.

– Отлично! У вас замечательный почерк! Благодарю. До свидания, Артем... Пойдите, – добавила она, словно что-то внезапно вспомнив. – Пойдемте, я хочу сделать вам небольшой подарок на память.

Артем последовал за ней; но, войдя в кухню, Алевтина остановилась.

– Прочтите это, – сказала она, протягивая ему сообщение от Руслана. Артем взял его и вопросительно посмотрел на Алевтину.

– Я знаю, вы его не читали и не можете быть посредником этого человека. Прочтите, я хочу, чтобы вы прочли.

Сообщение явно было написано в спешке:

"Сегодня решится моя судьба, ты знаешь, как. Сегодня я должен дать обещание, которое нельзя будет забрать назад. Я не имею права просить тебя о помощи, не смею надеяться; но однажды ты обронила слово, всего одно слово, и оно осветило мою жизнь и стало для меня ориентиром. Скажи еще одно такое же слово – и спасешь меня! Просто скажи: бросай все, и я брошу все сегодня же. О, что тебе стоит это сказать! В этом слове я прошу лишь признак твоего участия и сочувствия, и только! И ничего больше! Я не смею мечтать о надежде, потому что я ее не достоин. Но после твоего слова я приму свою нищету, с радостью буду переносить свое отчаянное положение. Я встречу борьбу, буду ей рад, я возрожусь в ней с новыми силами!

"Пожалуйста, пришли мне это слово сострадания (только сострадания, клянусь)! Не сердись на дерзость отчаявшегося, тонущего человека, за то, что он осмелился сделать последнее усилие, чтобы спастись.

Р. К."

– Этот человек утверждает, – резко сказала Алевтина, когда Артем закончил читать, – что слово "бросай все" меня ничем не скомпрометирует и ни к чему не обяжет, и сам дает мне письменную гарантию, этим самым сообщением. Обратите внимание, как наивно он поспешил подчеркнуть некоторые слова, и как явно проглядывает его тайный умысел. Впрочем, он знает, что если бы он бросил все сам, не дожидаясь моего слова и даже не говоря мне об этом, без всякой надежды на меня, то я бы изменила свое отношение к нему и, возможно, стала бы его другом. Он это знает наверняка! Но у него грязные мысли: он знает и не решается; он знает и все равно просит гарантий. Он не способен поверить. Он хочет, чтобы я ему, взамен ста тысяч, дала надежду на себя. А насчет того слова, о котором он говорит в сообщении, которое якобы осветило его жизнь, то он нагло врет. Я просто пожалела его однажды. Но он нагл и бесстыден: у него сразу же возникла мысль о возможности надежды; я это сразу поняла. С тех пор он стал меня ловить; ловит и сейчас. Но хватит; возьмите и отдайте ему сообщение обратно, сразу же, как выйдете отсюда, разумеется, не раньше.

– А что ему сказать в ответ?

– Ничего, естественно. Это самый удачный ответ. Значит, вы хотите поселиться в его квартире?

– Мне лично Константин Федорович рекомендовал, – произнес Кирилл.

– Тогда остерегайтесь его, предупреждаю; он теперь не простит, что вы ему вернете обратно сообщение.

Александра слегка пожала Кириллу руку и вышла. Лицо ее было серьезным и нахмуренным, она даже не улыбнулась, когда кивнула Кириллу головой на прощание.

– Сейчас, только мой рюкзак возьму, – сказал Кирилл Герману, – и выйдем.

Герман притопнул ногой от нетерпения. Лицо его даже потемнело от ярости. Наконец, оба вышли на улицу, Кирилл со своим рюкзаком в руках.

– Ответ? Ответ? – набросился на него Герман: – что она вам сказала? Вы передали сообщение?

Кирилл молча протянул ему его записку. Герман застыл.

– Как? Мое сообщение! – воскликнул он: – он и не передавал его! О, я должен был догадаться! О, пр-р-ро-клять... Понятно, что она ничего не поняла тогда! Да как же, как же, как же вы не передали, о, пр-р-ро-клять...

– Простите меня, напротив, мне сразу же удалось передать ваше сообщение, в ту же секунду как вы дали, и точно так, как вы просили. Она оказалась у меня опять, потому что Александра Ивановна сейчас передала мне ее обратно.

– Когда? Когда?

– Только что я закончил писать в альбом, и когда она пригласила меня с собой. (Вы слышали?) Мы вошли в гостиную, она подала мне сообщение, велела прочесть и велела передать вам обратно.

– Про-че-е-сть! – закричал Герман чуть не во все горло: – прочесть! Вы читали?

И он снова замер посреди тротуара, но до того изумленный, что даже открыл рот.

– Да, читал, сейчас.

– И она сама, сама вам дала прочесть? Сама?

– Сама, и поверьте, что я бы не стал читать без ее приглашения.

Герман с минуту молчал и с мучительными усилиями что-то соображал, но вдруг воскликнул:

– Не может быть! Она не могла вам велеть прочесть. Вы врете! Вы сами прочли!

– Я говорю правду, – отвечал Кирилл прежним совершенно спокойным тоном, – и поверьте: мне очень жаль, что это производит на вас такое неприятное впечатление.

– Но, несчастный, по крайней мере, она вам сказала же что-нибудь при этом? Что-нибудь ответила же?

– Да, конечно.

– Да говорите же, говорите, о, черт!..

И Герман два раза топнул правой ногой, обутой в кроссовок, о тротуар.

– Как только я прочел, она сказала мне, что вы ее преследуете; что вы хотели бы ее скомпрометировать так, чтобы получить от нее надежду, для того чтобы, опираясь на эту надежду, разорвать без потерь с другой надеждой на десять миллионов. Что если бы вы сделали это, не торгуясь с ней, разорвали бы все сами, не прося у нее вперед гарантии, то она, может быть, и стала бы вашим другом. Вот и все, кажется. Да, еще: когда я спросил, уже взяв сообщение, какой же ответ? тогда она сказала, что без ответа будет самый лучший ответ, – кажется, так; извините, если я забыл ее точную формулировку, а передаю как сам понял.

Неизмеримая злоба охватила Германа, и ярость его вырвалась без всякого контроля:

– Ах, вот как! – процедил сквозь зубы Артем, – значит, мои сообщения в урну отправлять? Ага! Она переговоры игнорирует, ну так я их начну! И посмотрим! У меня еще много... увидим!.. В узел завяжу!..

Его лицо исказилось, побледнело, на губах выступила пена; он тряс кулаком. Так они прошли несколько метров. С князем он не церемонился несколько, словно находился один в своей квартире, потому что считал его полным ничтожеством. Но вдруг его осенило, и он пришел в себя.

– Да каким образом, – внезапно обратился он к князю, – каким образом вы (кретин! – мысленно добавил он), вы вдруг пользуетесь таким доверием, спустя всего два часа после знакомства? Как это возможно?

Ко всем его мучениям добавилась еще и зависть. Она внезапно вонзилась ему прямо в сердце.

– Этого я вам объяснить не смогу, – ответил князь.

Артем злобно посмотрел на него:

– Не доверенность ли свою вам подарить она позвала вас в гостиную? Ведь она собиралась вам что-то преподнести?

– Иначе я не могу это объяснить.

– Да за что же, черт возьми! Что вы там такое сделали? Чем ей приглянулись? Послушайте, – он метался из стороны в сторону (все в нем в этот момент было как-то разбросано и кипело в хаосе, так что он не мог даже собраться с мыслями), – послушайте, не могли бы вы хоть как-нибудь вспомнить и систематизировать, о чем именно вы там говорили, все слова, с самого начала? Не заметили ли вы чего, не помните ли?

– О, очень даже могу, – ответил князь, – с самого начала, когда я вошел и представился, мы начали говорить о Швейцарии.

– Да к черту Швейцарию!

– Потом о смертной казни...

– О смертной казни?

– Да; по одному поводу... потом я им рассказывал о том, как прожил там три года, и одну историю с одной бедной женщиной...

– Ну, к черту эту женщину! Дальше! – нетерпеливо воскликнул Артем.

– Потом, как Олег Петрович высказал мне свое мнение о моем характере и заставил меня...

– Провалиться Олегу Петровичу и наплевать на его мнение! Дальше!

– Дальше, по одному поводу, я стал говорить о лицах, то есть о выражениях лиц, и сказал, что Алена Игоревна почти так же хороша, как Вероника Филипповна. Вот тут-то я и проговорился о фотографии...

– Но вы не пересказывали, вы ведь не пересказывали того, что слышали недавно в кабинете? Нет? Нет?

– Повторяю же вам, что нет.

– Да откуда же, черт... Ба! Не показала ли Алена записку старухе?

– В этом я могу вас заверить, что не показывала. Я все время был рядом; да и времени у нее не было.

– Да, может быть, вы сами чего-нибудь не заметили... О! пр-ро-клятый! – воскликнул он, совершенно потеряв самообладание, – и рассказать ничего толком не может!

Артем, начав ругаться и не встречая отпора, постепенно потерял всякую сдержанность, как это часто бывает с некоторыми людьми. Еще немного, и он, возможно, начал бы плевать, до того он был взбешен. Но именно из-за этого бешенства он и ослеп; иначе он давно бы обратил внимание на то, что этот "", которого он так третирует, слишком быстро и тонко умеет иногда все понять и чрезвычайно удовлетворительно передать. Но вдруг произошло нечто неожиданное.

– Должен заметить, Гавриил Ардалионович, – внезапно произнес князь, – я прежде действительно был болен, так что меня считали чуть ли не слабоумным. Но сейчас я давно поправился, и мне не очень приятно, когда меня называют так в лицо. Хотя, учитывая ваши неудачи, вас можно простить, но вы в сердцах даже пару раз обругали меня. Мне это крайне неприятно, особенно так сразу, сходу. И раз уж мы стоим на перекрестке, может, лучше разойдемся? Вы пойдете направо, к себе, а я налево. У меня есть двадцать пять тысяч, и я наверняка найду какую-нибудь гостиницу.

Гавриил ужасно смутился и даже покраснел от стыда.

– Простите, князь, – горячо воскликнул он, мгновенно сменив ругательный тон на предельную вежливость. – Ради бога, простите! Вы видите, в какой я переделке! Вы почти ничего не знаете, но если бы знали все, то, уверен, хоть немного бы меня оправдали. Хотя, конечно, я непростителен...

– О, мне не нужны такие большие извинения, – поспешил ответить князь. – Я понимаю, что вам сейчас очень тяжело, потому вы и ругаетесь. Ну, пойдете к вам. Я с удовольствием...

"Нет, его сейчас нельзя отпускать, – думал Гавриил, злобно поглядывая на князя по дороге. – Этот хитрец вытянул из меня все, а потом вдруг сбросил маску... Это что-то значит. Но мы еще посмотрим! Все решится, все, все сегодня же!" Они уже стояли у подъезда.

VIII.

Квартира Ганечкина находилась на третьем этаже, в чистом, светлом и просторном подъезде. Она состояла из шести или семи комнат и комнатушек, вполне обычных, но явно не по карману чиновнику, даже получающему двести тысяч в месяц. Но она предназначалась для сдачи жильцам с питанием и уборкой, и была занята Гавриилом и его семьей всего два месяца назад, к огромному неудовольствию самого Гавриила, по настоянию и просьбам Нины Александровны и Варвары Ардалионовны, желавших хоть немного увеличить семейный доход. Гавриил хмурился и называл сдачу комнат "колхозом". Ему стало как-то стыдно появляться в обществе, где он привык блистать как перспективный молодой человек. Все эти уступки судьбе и вся эта досадная стесненность – все это были глубокие душевные раны. С недавних пор он стал раздражаться по всякому пустяку, непропорционально сильно. И если он еще соглашался временно уступать и терпеть, то только потому, что уже было решено все это изменить в самом ближайшем будущем. А между тем само это изменение, выход, на котором он остановился, представлял собой задачу не из легких – такую задачу, решение которой грозило быть хлопотнее и мучительнее всего предыдущего.

Квартира делилась длинным коридором, начинавшимся прямо от входной двери. С одной стороны этого коридора располагались три комнаты, сдаваемые внаем "особо рекомендованным" жильцам. В самом конце коридора, рядом с кухней, находилась четвертая комнатка, самая маленькая, где обитал отставной полковник Епанчин, отец семейства. Он спал на старом диване и вынужден был входить и выходить через кухню и черный ход. Там же ютился тринадцатилетний брат Гавриила Ардалионовича, Коля, ученик лицея. Ему тоже приходилось тесниться, учиться и спать на узком, коротком диванчике с дырявой простыней. Главное, он должен был присматривать за отцом, который все больше нуждался в этом. Князю выделили среднюю из трех комнат. В первой, справа, жил Лукьянов, а третья, слева, пока пустовала. Но Гавриил первым делом повел князя в семейную часть квартиры. Она состояла из общего зала, который служил столовой, гостиной, которая была гостиной только утром, а вечером превращалась в кабинет и спальню Гавриила, и третьей комнаты, маленькой и всегда закрытой, – спальни Ирины Александровны и Варвары Ардалионовны. В квартире было тесно и неудобно. Гавриил сдерживал раздражение. Он старался быть почтительным к матери, но сразу было видно, что она – настоящий деспот в семье.

– Где ваш багаж? – спросил он, вводя князя в комнату.

– У меня небольшой рюкзак, я оставил его в прихожей.

– Сейчас принесу. У нас из прислуги только повариха и Матрена, так что я помогаю. Варя все контролирует и злится. Гавриил говорит, вы сегодня из Женевы?

– Да.

– И как там, в Женеве?

– Хорошо.

– Дорого?

– Очень.

– Сейчас принесу ваш рюкзак. – Вошла Варвара Ардалионовна.

– Матрена сейчас вам постель приготовит. У вас чемодан?

– Нет, рюкзак. Брат пошел за ним, он в прихожей.

– Там нет никакого рюкзака, кроме этого маленького! Куда ты его дел? – спросил Коля, возвращаясь в комнату.

– Да, кроме этого и нет ничего, – сказал князь, принимая свой рюкзак.

– А-а! Я думал, Лукьянов утащил.

– Не говори глупости, – строго сказала Варя, разговаривая с князем сухо и сдержанно.

– Chere Babette, со мной можно и поласковее, я же не Птицын.

– Тебя еще пороть надо, Коля, такой ты глупый. Если что понадобится, обращайтесь к Матрене. Обед в полпятого. Можете обедать с нами, можете у себя, как вам удобно. Пойдем, Коля, не будем мешать.

– Пойдем, решительный характер! – Выходя, они столкнулись с Гавриилом.

– Отец дома? – спросил Гавриил у Коли, и, получив утвердительный ответ, что-то шепнул ему на ухо.

Коля кивнул и вышел вслед за Варварой Ардалионовной.

– Слушай, Захар, чуть не забыл, пока тут возимся... Дело есть одно. Просьба, короче. Если не в напряг, конечно, – не трепись ни тут, о чём мы с Ириной сейчас говорили, ни там, о том, что тут увидишь. И тут дерьма хватает. Да пошло оно всё... Хотя бы сегодня помолчи.

– Уверяю, я меньше болтаю, чем ты думаешь, – ответил Захар, слегка раздражённый упрёками Гарика. Отношения между ними портились на глазах.

– Ну, я сегодня из-за тебя и так натерпелся. Короче, прошу.

– И ещё, Гавриил Ардалионович, почему я не мог про ту фотографию сказать? Ты же не просил меня молчать.

– Фу, комната – помойка, – брезгливо огляделся Гарик. – Темно, окна во двор. В общем, ты не вовремя... Но это не моё дело. Не я тут квартиры оплачиваю.

Тут заглянул Птицын и позвал Гарика. Тот быстро бросил Захара и вышел, хотя тот что-то хотел сказать, но явно стеснялся начать. И комнату обругал, будто смутился.

Захар только успел умыться и привести себя в порядок, как дверь снова открылась, и показалась новая фигура.

Мужчина лет тридцати, высокий, плечистый, с огромной рыжей шевелюрой. Лицо мясистое и румяное, губы толстые, нос широкий и приплюснутый, глаза маленькие, будто постоянно подмигивающие. В целом вид довольно наглый. Одет неряшливо.

Сначала он открыл дверь ровно настолько, чтобы просунуть голову. Голова секунд пять осматривала комнату. Потом дверь медленно открылась, вся фигура появилась в проёме, но гость не входил, а продолжал, прищурившись, рассматривать Захара. Наконец, закрыл за собой дверь, подошёл, сел на стул, крепко взял Захара за руку и усадил наискосок от себя на диван.

– Фердыщенко, – произнёс он, пристально глядя Захару в лицо.

– Ну и что? – ответил Захар, едва сдерживая смех.

– Жилец, – повторил Фердыщенко, не отводя взгляда.

– Познакомиться хотите?

– Э-эх! – воскликнул гость, взъерошив волосы и вздохнув, и устался в противоположный угол. – Деньги есть? – вдруг спросил он, поворачиваясь к Захару.

– Немного.

– Сколько точно?

– Двадцать пять рублей.

– Покажи-ка.

Захар достал купюру из кармана жилета и протянул Фердыщенко. Тот развернул её, посмотрел, потом перевернул на другую сторону, затем поднёс к свету.

– Странно, – пробормотал он в задумчивости, – почему они буреют? Некоторые двадцатипятирублевки ужасно буреют, а другие, наоборот, выцветают. Ладно, держи.

Захар взял свою купюру обратно. Фердыщенко встал со стула.

– Я пришёл предупредить: во-первых, мне денег в долг не давать, потому что я обязательно попрошу.

– Хорошо.

– Платить здесь собираешься?

– Собираюсь.

– Нет уж, благодарю. Моя квартира – первая дверь направо от вас, заметили? Не частите ко мне, пожалуйста. А к вам я сам загляну, не переживайте. Генерала видели?

– Нет, не видел.

– И не слышали о нём?

– Разумеется, нет.

– Ну, еще увидите и услышите. Он даже у меня деньги просит в долг! *Avis au lecteur*. Прощайте. Как вообще можно жить с такой фамилией – Пердыщенко? А?

– А что такого?

– Прощайте.

И он направился к выходу. Кирилл потом узнал, что этот тип будто бы взял на себя миссию удивлять всех своей необычностью и веселостью, но у него это как-то не получалось. На некоторых он даже производил отталкивающее впечатление, из-за чего он искренне расстраивался, но от своей задачи не отказывался. В дверях ему удалось как бы исправиться, столкнувшись с входящим мужчиной. Пропустив нового и незнакомого Кириллу гостя, он несколько раз многозначительно подмигнул ему вслед и таким образом все-таки удалился не без апломба.

Новый гость был высоким, лет пятидесяти пяти, а то и больше, довольно полный, с багрово-красным, мясистым и одутловатым лицом, обрамленным густыми седыми бакенбардами, с усами, с большими, довольно выпуклыми глазами. Фигура была бы вполне представительной, если бы не было в ней чего-то опустившегося, изношенного, даже засаленного. Одет он был в старенький пиджак, чуть ли не с протертыми локтями; рубашка тоже была не первой свежести – домашняя. От него слегка пахло водкой, но манера была эффектная, несколько наигранная и с явным желанием произвести впечатление своим достоинством. Гость приблизился к Кириллу не спеша, с приветливой улыбкой, молча взял его руку и, удерживая ее в своей, некоторое время всматривался в его лицо, словно узнавая знакомые черты.

– Он! Он! – проговорил он тихо, но торжественно. – Как живой! Слышу, повторяют знакомое и дорогое имя, и вспоминаю безвозвратное прошлое... Кирилл ?

– Именно так.

– Генерал Иволгин, в отставке и, увы, несчастный. Ваше имя и отчество, позвольте узнать?

– Кирилл Николаевич.

– Вот, вот! Сын моего друга, можно сказать, товарища юности, Николая Петровича?

– Моего отца звали Николаем Кирилловичем.

– Кириллович, – поправился генерал, но не торопясь, а с полной уверенностью, как будто он нисколько и не забывал, а просто случайно оговорился. Он сел и, продолжая держать Кирилла за руку, усадил рядом с собой. – Я вас на руках носил-с.

– Неужели? – спросил Кирилл. – Мой отец уже лет двадцать как умер.

– Да, двадцать лет, двадцать лет и три месяца. Вместе учились, я сразу в военное...

– Да и отец был военным, старлеем в Васильковском полку.

– В Белоярском. Перевод в Белоярский состоялся почти накануне его смерти. Я тут стоял и благословил его в последний путь. Ваша матушка...

Генерал замолчал, словно от грустного воспоминания.

– Да, она тоже через полгода умерла от пневмонии, – сказал Кирилл.

– Не от ковида! Не от ковида она ушла, поверьте старому вояке, я же там был, я её и провожал. От тоски по мужу, вот от чего, а не от простуды. Да-с, помню я ещё Аллу Петровну! Молодость! Из-за неё мы с её мужем, закадычные друзья с детства, чуть не стали кровными врагами.

Илья Андреевич слушал с некоторым сомнением.

– Я безумно любил вашу матушку, ещё когда она невестой была, – невестой моего лучшего друга. Пётр Николаевич заметил это и был просто взбешён. Прилетает ко мне утром, часов в шесть, будит. Я одеваюсь в полном недоумении; молчание с обеих сторон; но я-то всё понял. Достает из барсетки два "Глока". Через платок. Без всяких свидетелей. А зачем они, если через пять минут мы друг друга в мир иной отправим? Зарядили, натянули платок, встали, приставили пистолеты друг другу к сердцу и смотрим в глаза. И вдруг слёзы градом у обоих, руки задрожали. У обоих, у обоих сразу! Ну, тут, конечно, объятия и взаимная борьба благородства. Пётр кричит: бери её себе, я кричу: нет, она твоя! Одним словом... одним словом... вы к нам... пожить?

– Да, на какое-то время, возможно, – проговорил Илья Андреевич, слегка запинаясь.

– Илья, мама к себе зовёт, – крикнул, заглянув в комнату, Егор. Илья Андреевич было поднялся, но генерал положил свою руку ему на плечо и дружески усадил обратно на диван.

– Как истинный друг вашего отца, хочу предупредить, – сказал генерал, – я, вы видите сами, пострадал, из-за трагической случайности; но без суда! Без суда! Ольга Васильевна – женщина неординарная. Вероника моя – дочь редкая! По стечению обстоятельств снимаем квартиры – падение просто невероятное! Мне, которому прочили место губернатора области!.. Но вам мы всегда рады. А между тем у меня дома драма!

Илья Андреевич смотрел с вопросом и большим интересом.

– Готовится свадьба, и свадьба странная. Брак женщины с сомнительной репутацией и молодого человека, который мог бы сейчас в "Газпроме" работать. Эту женщину хотят привести в дом, где моя дочь и где моя жена! Но пока я жив, она сюда не войдёт! Я лягу у порога, и пусть перешагнёт через меня!.. С Гошей я почти не разговариваю, избегаю встреч. Я вас предупреждаю специально; если будете у нас жить, всё равно станете свидетелем. Но вы сын моего друга, и я вправе надеяться...

– Илья, будьте добры, пройдите ко мне в гостиную, – позвала Ольга Васильевна, появившись в дверях.

– Представь себе, друг мой, – воскликнул генерал, – оказывается, я-то я ещё Илью на руках качал!

Ольга Васильевна укоризненно посмотрела на генерала и пылливо на Илью Андреевича, но ничего не сказала. Илья Андреевич пошёл за ней; но как только они вошли в гостиную и сели, а Ольга Васильевна начала что-то быстро и вполголоса сообщать Илье, генерал вдруг сам пожаловал в гостиную. Ольга Васильевна тут же замолчала и с видимым раздражением склонилась к своему вязанию. Генерал, возможно, и заметил это раздражение, но продолжал пребывать в прекрасном расположении духа.

– Сын моего старого товарища! – воскликнул генерал, поворачиваясь к Нине Александровне. – Какая неожиданность! Я уже и надежду потерял. Но, дружище, неужели ты не помнишь покойного Аркадия Петровича? Вы еще встречались... в Калуге?

– Я не помню никакого Аркадия Петровича. Это ваш отец? – спросила она у Олега.

– Отец; но он скончался, кажется, не в Калуге, а в Костроме, – тихо поправил генерал-майора Олег. – Я слышал от Игнатова...

– В Калуге, – уверенно заявил генерал. – Перед самой кончиной его перевели в Калугу, еще до начала болезни. Вы были совсем ребенком и не могли запомнить ни переезда, ни самого факта. Игнатов мог и ошибиться, хотя и был человеком достойным.

– Вы знали Игнатова?

– Замечательный был человек, а я был очевидцем. Я его напутствовал перед уходом...

– Отец умер под следствием, – снова вставил Олег, – хотя я так и не узнал, в чем именно его обвиняли. Он умер в больнице.

– Ах, это по делу о рядовом Сидорове, и, вне всяких сомнений, вашего отца оправдали бы.

– Правда? Вы уверены? – с особым интересом спросил Олег.

– Еще бы! – воскликнул генерал. – Суд зашел в тупик, не вынес никакого решения. Дело совершенно невероятное! Даже, можно сказать, мистическое: умирает капитан Белов, командир роты; вашего отца временно назначают исполняющим обязанности; все нормально. Рядовой Сидоров совершает кражу – украл берцы у сослуживца – и пропивает их; тоже понятно. Ваш отец – и заметьте, это происходило в присутствии старшины и ефрейтора – отчитывает Сидорова и грозит ему карцером. Все по уставу. Сидоров возвращается в казарму, ложится на койку и через пятнадцать минут умирает. Неожиданно, почти невозможно. Так или иначе, Сидорова хоронят; ваш отец докладывает по команде, и Сидорова исключают из списков. Казалось бы, все улажено? Но ровно через полгода, на дивизионном смотре, рядовой Сидоров, как ни в чем не бывало, оказывается в третьей роте второго батальона Новоуральского мотострелкового полка, той же бригады и той же дивизии!

– Как?! – воскликнул Олег, пораженный до глубины души.

– Это неправда, это ошибка! – вдруг обратилась к нему Нина Александровна, глядя на него с тревогой. – Мой муж ошибается.

– Дорогая, сказать "ошибается" легко, но попробуй-ка сама разрешить такую ситуацию! Все были в шоке. Я бы первый сказал, что это ошибка. Но, к сожалению, я был свидетелем и участвовал в комиссии. Все очные ставки подтвердили, что это тот самый, абсолютно тот же самый рядовой Сидоров, которого полгода назад похоронили с почестями и под барабанный бой. Случай действительно уникальный, почти невозможный, я согласен, но...

– Пап, обед готов, – объявила Варвара Ардалионовна, входя в комнату.

– Ах, прекрасно, замечательно! Я проголодался... Но случай, можно сказать, даже психопатологический...

– Суп остынет, – нетерпеливо сказала Варя.

– Сейчас, сейчас, – пробормотал генерал, выходя из комнаты, – "и несмотря ни на какие документы", – донеслось еще из коридора.

– Вам придется проявить снисходительность к Аркадию Павловичу, если решите остаться у нас, – обратилась Инна к Игорю. – Он, впрочем, не доставит вам особых хлопот; он обычно ужинает отдельно. Согласитесь, у каждого свои причуды и... особенности, у других, возможно, даже больше, чем у тех, на кого принято показывать пальцем. Прошу об одном: если мой муж вдруг заговорит с вами об оплате аренды, скажите ему, что отдали деньги мне. То есть, отданное Аркадию Павловичу все равно пошло бы в счет, но я прошу вас об этом исключительно для порядка... Что случилось, Вера?

Вера вернулась в комнату и молча протянула матери фотографию Алины Германовны. Инна вздрогнула и сначала с испугом, а затем с горьким чувством рассматривала ее некоторое время. Наконец, вопросительно посмотрела на Веру.

– Сегодня он получил подарок от нее лично, – сказала Вера, – а вечером у них все решится.

– Сегодня вечером! – словно в отчаянии повторила Инна вполголоса. – Что же? Тут больше нет сомнений, и надежд тоже не осталось: фотография все подтвердила... Он сам тебе ее показал? – добавила она с удивлением.

– Вы знаете, мы уже почти месяц не разговариваем. Олег мне все рассказал, а фотография валялась на полу возле стола; я ее подняла.

– Игорь, – вдруг обратилась к нему Инна, – я хотела вас спросить (собственно, для этого и пригласила вас сюда), давно ли вы знакомы с моим сыном? Он говорил, кажется, что вы только сегодня откуда-то приехали?

Игорь вкратце рассказал о себе, опустив многое. Инна и Вера выслушали.

– Я не пытаюсь выведать что-либо о Гаврииле Аркадьевиче, расспрашивая вас, – заметила Инна. – Вы не должны ошибаться на этот счет. Если есть что-то, в чем он не может признаться мне сам, я и сама не хочу узнавать об этом в обход него. Я к тому, что Гавриил при вас, а потом, когда вы ушли, на мой вопрос о вас ответил: "Он все знает, церемониться нечего!" Что это значит? То есть, я хотела бы знать, в какой степени...

В комнату вошли Гавриил и Олег; Инна тут же замолчала. Игорь остался на стуле рядом с ней, а Вера отошла в сторону; фотография Алины Германовны лежала на видном месте, на рабочем столе Инны, прямо перед ней. Гавриил, увидев ее, нахмурился, с досадой взял со стола и бросил на свой письменный стол, стоявший в другом конце комнаты.

– Сегодня, Гавриил? – вдруг спросила Инна.

– Что сегодня? – встрепнулся Гавриил и вдруг набросился на Игоря. – А, понимаю, вы уже и здесь!.. Да что у вас, в конце концов, болезнь какая-то? Удержаться не можете? Да поймите же, наконец...

– Тут я виноват, Гавриил, а не кто-либо другой, – прервал Олег.

Гавриил вопросительно посмотрел на него.

– Да это даже к лучшему, Глеб, тем более, что, с одной стороны, вопрос закрыт, – пробормотал Птицын и, отойдя к окну, присел на подоконник. Он достал из кармана листок, испещренный цифрами, и углубился в расчеты. Глеб стоял понурый, ожидая семейного скандала. Перед Игнатом он и не подумал извиниться.

– Если все решено, то Иван Петрович, конечно, прав, – сказала Инна Александровна. – Не хмурься, пожалуйста, и не злись, Глеб. Я не стану ни о чем выпрашивать, если ты сам не захочешь рассказать. Поверь, я смирилась. Сделай милость, не переживай.

Она говорила это, не отрываясь от вязания, и казалось, была совершенно спокойна. Глеб удивился, но молчал и наблюдал за матерью, ожидая, что она скажет что-то еще. Домашние разборки обходились ему слишком дорого. Инна Александровна заметила его настороженность и с горькой усмешкой добавила:

– Ты все еще сомневаешься и не веришь мне? Не бойся, не будет ни слез, ни уговоров, как раньше, по крайней мере, с моей стороны. Все, чего я хочу, – чтобы ты был счастлив, и ты это знаешь. Я приняла судьбу, но мое сердце всегда будет с тобой, останемся мы вместе или разойдемся. Конечно, я отвечаю только за себя. Ты не можешь требовать того же от сестры...

– А, опять она! – воскликнул Глеб, глядя на сестру с насмешкой и неприязнью. – Мам, клянусь тебе тем же, чем уже клялся: никто и никогда не посмеет тебя обидеть, пока я здесь, пока я жив. О ком бы ни шла речь, я добьюсь полного уважения к тебе, кто бы ни переступил порог этого дома...

Глеб так обрадовался, что смотрел на мать почти примирительно, почти нежно.

– Я за себя и не боялась, Глеб, ты же знаешь. Я не о себе беспокоилась и измучилась все это время. Говорят, сегодня у вас все решится? Ну что, решится?

– Сегодня вечером у себя она пообещала объявить: согласна или нет, – ответил Глеб.

– Мы почти три недели избегали разговоров об этом, и так было лучше. Теперь, когда все почти кончено, я только об одном позволю себе спросить: как она могла дать тебе согласие и даже подарить свой портрет, если ты ее не любишь? Неужели ты ее, такую... такую...

– Ну, опытную, что ли?

– Я не это хотела сказать. Неужели ты до такой степени мог ей пустить пыль в глаза?

В этом вопросе вдруг прозвучала непривычная раздражительность. Глеб помолчал, немного подумал и, не скрывая иронии, произнес:

– Вы увлеклись, мам, и опять не сдержались. Вот так у нас всегда все начиналось и перерастало в скандал. Вы же говорили: не будет ни расспросов, ни упреков, а они уже начались! Давайте лучше оставим эту тему. Право, давайте. По крайней мере, у вас было такое намерение... Я никогда и ни за что вас не брошу. Другой бы от такой сестры давно сбежал, вон как она на меня смотрит! Закончим на этом! Я уж было обрадовался... И откуда вам знать, что я обманываю Настасью Филипповну? А насчет Вари – как ей будет угодно, и все. Ну, теперь уж точно все!

С каждым словом Глеб распаялся все больше, бесцельно курсируя по комнате. Подобные разговоры всегда превращались в нарыв для всех членов семьи.

– Я сказала, если она сюда войдет, я отсюда уйду, и свое слово сдержу, – отрезала Варя.

– Из упрямства! – взвизгнул Глеб. – Из упрямства замуж не идешь! Что ты на меня шипишь? Мне плевать, Варвара Ардалионовна; если угодно – хоть сейчас исполняй свое намерение. Достала ты меня уже. Как! Вы решаетесь, наконец, нас покинуть, князь? – заорал он Кириллу, заметив, что тот поднимается с кресла.

В голосе Глеба звучала та степень раздражения, когда человек почти рад ему, отдается ему без остатка и чуть ли не с нарастающим удовольствием, к чему бы это ни привело. Кирилл обернулся в дверях, чтобы что-то ответить, но, увидев болезненное выражение лица своего обидчика, понял, что нужна лишь капля, чтобы переполнить чашу, и молча вышел. Спустя несколько минут он услышал из гостиной, что разговор в его отсутствие стал еще громче и откровеннее.

Он прошел через зал в прихожую, чтобы попасть в коридор, а из него – в свою комнату. Проходя мимо входной двери на лестничную площадку, он услышал и заметил, что кто-то отчаянно пытается позвонить в звонок; но в звонке, видимо, что-то сломалось: он лишь слегка вздрагивал, не издавая звука. Кирилл снял задвижку, открыл дверь и отшатнулся в изумлении, весь вздрогнув: перед ним стояла Полина Филипповна. Он сразу узнал ее по фотографии. В ее глазах вспыхнула досада, когда она его увидела; она быстро прошла в прихожую, толкнув его плечом, и гневно сказала, сбрасывая шубу:

– Если лень починить звонок, то хотя бы сидел в прихожей, когда стучат. Ну, вот, теперь шубу уронил, олух!

Шуба действительно валялась на полу; Полина Филипповна, не дождавшись, пока Кирилл ее снимет, сама бросила ее ему в руки, не глядя, из-за спины, но Кирилл не успел подхватить.

– Гнать тебя надо. Ступай, доложи.

Кирилл хотел что-то сказать, но настолько растерялся, что не смог вымолвить ни слова и с шубой, которую поднял с пола, пошел в гостиную.

– Ну, вот, теперь с шубой идет! Шубу-то зачем несешь? Ха-ха-ха! Да ты сумасшедший, что ли?

Кирилл вернулся и смотрел на нее как истукан; когда она засмеялась – усмехнулся и он, но язык все еще не слушался. В первое мгновение, когда он открыл ей дверь, он был бледен, теперь же краска залила его лицо.

– Да что это за ? – в негодовании воскликнула Полина Филипповна, топнув ногой. – Ну, куда ты идешь? Ну, кому ты будешь докладывать?

– Полину Филипповну, – пробормотал Кирилл.

– Почему ты меня знаешь? – быстро спросила она. – Я тебя никогда не видела! Ступай, докладывай... Что там за крик?

– Да бросьте вы, – ответил Кирилл и вошел в зал. Он появился в самый напряженный момент: Инна Андреевна уже почти забыла о своем "смирении"; впрочем, она заступалась за Свету. Рядом со Светой стоял и Олег, уже отложивший свою исчерканную ручкой бумажку. Света и сама не была робкой, да и вообще не из пугливых; но грубость брата становилась с

каждой фразой все более неприятной и невыносимой. В таких ситуациях она обычно замолкала и лишь молча, с усмешкой, смотрела на брата, не отводя от него глаз. Этот прием, как она знала, мог вывести его из себя окончательно. Именно в этот миг Кирилл вошел в комнату и произнес:

– Вероника Олеговна!

IX.

Наступила общая тишина; все смотрели на Кирилла, словно не понимая его и – не желая понимать. Герман замер от изумления.

Приезд Вероники Олеговны, особенно в данный момент, был для всех самой странной и волнующей неожиданностью. Уже одно то, что Вероника Олеговна удостоила их своим присутствием впервые; до этого она держалась настолько высокомерно, что в разговорах с Германом даже не выражала желания познакомиться с его семьей, а в последнее время и вовсе о них не упоминала, будто их и не существовало. Герман, хоть и был отчасти рад, что откладывался столь неприятный для него разговор, все же в душе затаил на нее эту надменность. В любом случае, он ожидал от нее скорее насмешек и колкостей в адрес его семьи, а не визита к ним; он точно знал, что ей известно все, что происходит у него дома по поводу его сватовства и как на нее смотрят его родные. Ее визит сейчас, после подарка картины и в день его рождения, в день, когда она обещала решить его судьбу, означал почти что само это решение.

Недоумение, с которым все смотрели на Кирилла, длилось недолго: Вероника Олеговна появилась в дверях гостиной сама и, входя в комнату, снова слегка оттолкнула Кирилла.

– Наконец-то удалось войти... зачем вы тут сигнализацию ставите? – весело произнесла она, протягивая руку Герману, бросившемуся к ней со всех ног. – Что это у вас такое кислое лицо? Представьте же меня, пожалуйста...

Совершенно растерянный, Артем представил ее сначала Вере, и обе женщины, прежде чем обменяться рукопожатиями, окинули друг друга изучающими взглядами. Кира Львовна, впрочем, заливалась смехом, искусно скрывая истинные чувства за маской веселья; но Вера не желала притворяться и смотрела мрачно и пронзительно; даже намек на улыбку, которую требовал простой этикет, не появилось на ее лице. Артем похолодел от ужаса; умолять было бесполезно и некогда, и он бросил на Веру такой гневный взгляд, что та, по силе этого взгляда, поняла, что значит для ее брата эта минута. Тут она, казалось, решила уступить ему и едва заметно улыбнулась Кире Львовне. (Все они в этой семье еще слишком сильно любили друг друга.)

Несколько разрядила обстановку Инна Александровна, которую Артем, окончательно сбившись с толку, представил после сестры и даже подвел ее к Кире Львовне. Но едва Инна Александровна успела начать говорить о своем "особенном удовольствии", как Кира Львовна, не дослушав ее, быстро повернулась к Артему и, усаживаясь (без приглашения) на маленький диванчик в углу у окна, воскликнула:

– Где же ваш кабинет? И... и где квартиранты? Вы же сдаете комнаты?

Артем ужасно покраснел и запнулся, пытаясь что-то ответить, но Кира Львовна тут же добавила:

– Где же тут держать квартирантов? У вас и кабинета нет. А это выгодно? – обратилась она вдруг к Инне Александровне.

– Это несколько хлопотно, – ответила та; – разумеется, должна быть выгода. Мы, впрочем, только что...

Но Кира Львовна опять уже не слушала: она смотрела на Артема, смеялась и кричала ему:

– Что у вас за лицо? О, боже мой, какое у вас сейчас лицо!

Прошло несколько мгновений этого смеха, и лицо Артема действительно сильно исказилось: его оцепенение, его комичная, трусливая растерянность вдруг исчезла; но он ужасно побледнел; губы скривились в судороге; он молча, пристально и злобно смотрел в лицо своей гостьи, продолжавшей смеяться.

Был там и еще один наблюдатель, который тоже еще не оправился от своего почти онемения при виде Киры Львовны; но он, хоть и стоял "столбом" на прежнем месте в дверях гостиной, все же успел заметить бледность и зловещее изменение лица Артема. Этим наблюдателем был Кирилл. Почти в испуге он вдруг машинально шагнул вперед.

– Выпейте воды, – прошептал он Артему. – И не смотрите так...

Было видно, что он сказал это без всякого расчета, без особого умысла, просто по первому побуждению; но слова его произвели чрезвычайное действие. Казалось, вся злоба Артема вдруг обрушилась на Кирилла: он схватил его за плечо и смотрел на него молча, мстительно и ненавистно, словно не в силах вымолвить ни слова. Произошло всеобщее замешательство: Инна Александровна даже слегка вскрикнула, Птицын шагнул вперед в беспокойстве, Коля и Фердыщенко, появившиеся в дверях, остановились в изумлении, одна Вера по-прежнему смотрела исподлобья, но внимательно наблюдая. Она не садилась, а стояла сбоку, возле матери, скрестив руки на груди.

Но Ганя тут же взял себя в руки, почти сразу после своей выходки, и натянуто хихикнул. Он окончательно пришел в себя.

– Да вы что, Кирилл, доктор что ли? – воскликнул он, стараясь говорить как можно более весело и непринужденно. – Даже напугали меня! Инга Петровна, разрешите представить вам, это просто находка, хотя я и сам только сегодня утром познакомился.

Инга Петровна с удивлением посмотрела на Кирилла.

– Кирилл? Он Кирилл? Представляете, а я только что, в приемной, приняла его за курьера и отправила докладывать! Ха-ха-ха!

– Ничего страшного, ничего страшного! – подхватил Федор, торопливо подходя и радуясь, что все начали смеяться. – Ничего страшного: se non è vero...

– Да я вас чуть ли не отругала, Кирилл. Простите, пожалуйста. Федор, а вы-то что здесь, в такой час? Я думала, хоть вас не застану. Кто? Какой Кирилл? Соколов? – переспросила она Ганю, который, все еще держа Кирилла за плечо, успел его представить.

– Наш квартирант, – повторил Ганя.

Очевидно, Кирилла представляли как нечто необычное (и пригодившееся всем как выход из неловкой ситуации), чуть ли не подсовывали Инге Петровне. Кирилл даже отчетливо услышал слово "чудик", прошептанное сзади, кажется, Федором, в пояснение Инге Петровне.

– Скажите, почему же вы не разуверили меня тогда, когда я так ужасно... в вас ошиблась? – продолжала Инга Петровна, рассматривая Кирилла с головы до ног самым наглым образом. Она с нетерпением ждала ответа, словно была уверена, что ответ будет настолько глупым, что невозможно будет не засмеяться.

– Я удивился, увидев вас так внезапно... – пробормотал Кирилл.

– А как вы узнали, что это я? Где вы меня видели раньше? Что это, в самом деле, мне кажется, что я его где-то видела? И позвольте спросить, почему вы тогда застыли на месте? Что во мне такого ошеломляющего?

– Ну же, ну! – продолжал кривляться Федор. – Да говори же! О, господи, что бы я на такой вопрос наговорил! Да говори же... Тюфяк же ты, Кирилл, после этого!

– Да и я бы наговорил на вашем месте, – засмеялся Кирилл Федору. – Тогда меня ваш портрет очень поразил, – продолжал он Инге Петровне. – Потом я с семьей Кузнецовых о вас говорил... а рано утром, еще до въезда в Москву, в поезде, мне много о вас рассказывал Артем Рогожин... И в тот самый момент, когда я вам дверь открыл, я о вас тоже думал, а тут вдруг и вы.

– А как же вы меня узнали, что это я?

– По портрету и...

– И еще?

– И еще потому, что именно такой я вас и представлял... Мне тоже казалось, что я вас где-то видел.

– Где? Где?

– Я ваши глаза точно где-то видел... да этого не может быть! Это я так... Я здесь никогда и не был. Может быть, во сне...

– Ай да Кирилл! – закричал Федор. – Нет, я свое: *se non è vero – беру назад*. Впрочем... впрочем, ведь это он все по наивности! – добавил он с сожалением.

Князь произнес заученные слова сбивчиво, голос дрожал, каждое движение выдавало крайнее возбуждение. Ярослава смотрела на него с явным интересом, но насмешливость исчезла. Внезапно, громкий, незнакомый голос, прозвучавший из-за спин плотной толпы, окружившей князя и Ярославу, словно рассек воздух, раздвинул людей в стороны. Перед Ярославой стоял собственной персоной глава семейства, генерал Ивлев. На нем был строгий костюм и свежая рубашка; усы тщательно подкручены...

Григорий больше не мог сдерживаться.

Самолюбивый и честолюбивый до болезненности, до навязчивых мыслей; искавший все эти месяцы хоть какую-нибудь опору, чтобы выглядеть достойнее и благороднее; ощущавший себя новичком на выбранном пути, боявшийся не выдержать; в отчаянии решившийся, наконец, дома, где он был полновластным хозяином, на полную дерзость, но не смеявший проявить ее перед Ярославой, сбивавшей его с толку до последнего момента и безжалостно державшей над ним верх; "нетерпеливый нищий", по меткому выражению самой Ярославы, о чем ему уже успели донести; поклявшийся жестоко отомстить ей за все это в будущем, и в то же время по-детски мечтавший примирить все противоречия, – он должен был теперь испить эту горькую чашу до дна, и, главное, в такой момент! Еще одно непредвиденное, но самое страшное испытание для тщеславного человека – мука стыда за своих близких, в собственном доме, выпала на его долю. "Да стоит ли вообще этого вознаграждение!" – промелькнуло в голове у Григория.

В этот самый миг воплощалось то, что последние два месяца являлось ему лишь в ночных кошмарах, сковывая ужасом и обжигая стыдом: наконец-то состоялась семейная встреча его отца с Вероникой Олеговной. Иногда, дразня и раздражая себя, он пытался представить себе Виталия Петровича во время свадебной церемонии, но никогда не мог довести эту мучительную картину до конца и поспешно отбрасывал ее. Возможно, он непомерно преувеличивал катастрофу; но с тщеславными людьми всегда так. За эти два месяца он успел все обдумать и решиться, дав себе слово во что бы то ни стало утихомирить отца, хотя бы на время, и спрятать его, если возможно, даже из Москвы, согласна на то мать или нет. Десять минут назад, когда вошла Вероника Олеговна, он был настолько поражен, настолько ошеломлен, что совершенно забыл о возможности появления на сцене Виталия Петровича и не предпринял никаких мер. И вот отец здесь, перед всеми, да еще и торжественно подготовившись, во фраке, именно в тот момент, когда Вероника Олеговна "только и ждет случая, чтобы осыпать его и его домашних насмешками". (В этом он был уверен.) Да и в самом деле, что означает ее нынешний визит, как не это? Подружиться с его матерью и сестрой или оскорбить их у него же дома она приехала? Но по тому, как расположились обе стороны, сомнений уже не оставалось: его мать и сестра сидели в стороне, словно оплеванные, а Вероника Олеговна даже и позабыла, кажется, что они в одной с ней комнате... И если она так себя ведет, то, конечно, у нее есть своя цель!

Кирилл подхватил Виталия Петровича и подвел его.

– Виталий Петрович Иволгин, – с достоинством произнес нагнувшийся и улыбающийся генерал, – старый, несчастный солдат и отец семейства, счастливого надеждой заключить в себе такую прелестную...

Он не договорил; Кирилл быстро подставил ему сзади стул, и генерал, несколько ослабевший в этот послеобеденный час, так и шлепнулся, или, лучше сказать, упал на стул, но это, впрочем, его не смутило. Он уселся прямо напротив Вероники Олеговны и с приятной

ужимкой медленно и эффектно поднес ее пальчики к своим губам. Вообще генерала довольно трудно было смутить. Внешность его, за исключением некоторой неряшливости, все еще была вполне прилична, о чем он сам прекрасно знал. Ему доводилось бывать прежде в очень хорошем обществе, из которого он был исключен окончательно всего лишь года два-три назад. С этого же срока он и предался слишком уж без удержу некоторым своим слабостям; но ловкая и приятная манера оставалась в нем и до сих пор. Вероника Олеговна, казалось, чрезвычайно обрадовалась появлению Виталия Петровича, о котором, конечно, знала понаслышке.

– Я слышал, что сын мой... – начал было Виталий Петрович.

– Да, сын ваш! Хороши и вы тоже, папенька-то! Почему вас никогда не видно у меня? Что, вы сами прячетесь или сын вас прячет? Вам-то уж можно приехать ко мне, никого не компрометируя.

– Дети двадцать первого века и их родители... – начал было опять генерал.

– , прошу, отпустите Аркадия Петровича на минутку, его зовут, – громко произнесла Ирина Петровна.

– Отпустить? Да что вы, я столько о нем слышала, так давно хотела увидеть! И какие у него дела? Он же на пенсии? Вы меня не оставите, генерал, не уйдете?

– Обещаю, он сам к вам приедет, но сейчас ему нужен отдых.

– Аркадий Петрович, говорят, вам нужен отдых! – воскликнула с недовольной гримасой, словно капризная девчонка, у которой отбирают игрушку.

Генерал еще больше усугубил неловкость ситуации.

– Друг мой! Друг мой! – укоризненно произнес он, обращаясь к жене и положив руку на сердце.

– Мама, ты не уйдешь? – громко спросила Вера.

– Нет, Верочка, досижу до конца.

не могла не слышать вопроса и ответа, но ее веселость, казалось, только усилилась. Она снова засыпала генерала вопросами, и через несколько минут он уже произносил речи под громкий смех присутствующих.

Коля дернул князя за рукав.

– Уведите его хоть вы! Пожалуйста! – У мальчика в глазах стояли слезы от возмущения.

– Ох, проклятый этот Глеб! – пробормотал он про себя.

– С Иваном Сергеевичем Морозовым я действительно был очень дружен, – разошелся генерал, отвечая на вопросы Настасьи Филипповны. – Я, он и покойный князь Борис Николаевич Романов, сына которого я сегодня обнял после двадцатилетней разлуки, мы были неразлучны, как три мушкетера: Атос, Портос и Арамис. Но увы, один в могиле, пал жертвой клеветы и пули, другой перед вами и все еще борется с клеветой и пулями...

– С пулями? – воскликнула .

– Они здесь, в моей груди, раны, полученные под Гудермесом, и в плохую погоду я их чувствую. В остальном живу как философ, гуляю, играю в моем клубе, как обыватель на пенсии, в нарды и читаю "Независимую газету". Но с нашим Портосом, Морозовым, после истории трехлетней давности в аэропорту из-за собачки, я окончательно порвал.

– Собачки? Что это такое? – с любопытством спросила . – Собачка? Позвольте, и в аэропорту!.. – словно припоминая.

– О, глупая история, не стоит и повторять: из-за гувернантки княгини Белозерской, фрау Шнайдер, но... не стоит и вспоминать.

– Нет, расскажите обязательно! – весело воскликнула .

– А я еще не слышал! – заметил Федор: – c'est du nouveau.

– Аркадий Петрович! – снова раздался умоляющий голос Ирины Петровны.

– Папа, тебя зовут, – крикнул Коля.

– Короче говоря, история ская, – начал генерал Аркадий Петрович с довольным видом. – Два года назад, ну почти, как раз открыли новую Московско-Тверскую трассу. Я, уже в гражданском, оформлял отставку, важные дела, взял билет в СВ. Зашел, сижу, курю. Ну, то есть, продолжаю, я еще до посадки начал. Один в купе. Курить вроде как нельзя, но и не запрещено, как обычно, смотря кто ты. Окно открыто. И тут, прямо перед отправлением, заходят две дамы с болонкой, напротив меня. Опоздали. Одна разодета как пава, в небесно-голубом, другая скромнее, в черном шелке. Симпатичные, смотрят свысока, говорят по-английски. Я, естественно, ноль внимания, курю. Ну, подумал было, но продолжаю, раз окно открыто. У голубой дамы болонка на коленях, крошечная, в кулак поместится, черная, лапки белые, редкость. Ошейник серебряный с гравировкой. Я – ничего. Замечаю только, дамы, кажется, злятся, из-за сигары, конечно. Одна в лорнет уставилась, черепаховый. Я опять-таки ничего: ведь молчат же! Сказали бы, попросили, есть же язык! А то молчат... и вдруг – без малейшего предупреждения, вообще без всякого, как будто с катушек слетела – голубая хватить у меня сигару из рук и в окно. Поезд мчит, я как дурак смотрю. Дикарка! Просто дикая баба, из леса вылезла. Хотя, дама видная, полная, высокая, блондинка, румяная (даже слишком), глаза на меня сверкают. Молча, с необыкновенной вежливостью, с совершенной вежливостью, с утонченной, так сказать, вежливостью, двумя пальцами беру болонку за шкурку и швырк ее за окно, вслед за сигарой! Только взвизгнула! Поезд мчит дальше...

– Вы чудовище! – закричала Вероника Андреевна, хохоча и хлопая в ладоши как ребенок.

– Bravo, bravo! – орал Федор Ильич. Усмехнулся и Глеб Борисович, которому тоже было неприятно появление генерала. Даже Костя засмеялся и крикнул: "Bravo!"

– И я прав, прав, трижды прав! – с жаром продолжал торжествующий генерал. – Потому что если в вагонах сигары запрещены, то собаки – тем более.

– Молодец, батя! – восторженно вскричал Костя. – Отлично! Я бы точно так же поступил!

– Но что же дама? – с нетерпением спросила Вероника Андреевна.

– А, вот тут-то вся засада, – продолжал генерал, нахмурившись. – Ни слова не говоря, без малейшего предупреждения, она хватить меня по щеке! Дикая женщина, просто дикая!

– А вы?

Генерал опустил глаза, поднял брови, пожал плечами, сжал губы, развел руками, помолчал и вдруг сказал:

– Не сдержался!

– И больно? Больно было?

– Клянусь, не нарочно! Вышел конфуз, но без злого умысла. Я лишь машинально отмахнулся, чисто инстинктивно. Но тут сам черт попутал: эта блондинка оказалась то ли британка, репетиторша, то ли что-то вроде компаньонки у княгини Волконской, а та, в темном платье, – старшая из Волконских, старая дева лет под сорок. А всем известно, какие отношения у генеральши Куропатовой с семейством Волконских. Все княжны в шоке, слезы градом, траур по любимой болонке, визг шестерых девиц, вопли англичанки – форменный бедлам! Ну, конечно, ездил потом с повинной, умолял о прощении, письмо написал, но не приняли ни меня, ни послание, а с Куропатовой – разлад, отлучение, изгнание!

– Позвольте, но как же так? – вдруг перебила. – Дней пять назад я читала в «Независимом Курьере» – а я регулярно просматриваю «Независимый Курьер» – абсолютно идентичную историю! Ну, просто один в один! Произошло это где-то в поезде, кажется, между Самарой и Оренбургом, с каким-то французом и англичанкой: точно так же вырвали сигару, точно так же выбросили за окно собачку, и, в конце концов, все закончилось так же, как у вас. Даже платье было небесно-голубое!

Генерал побагровел, Коля тоже покраснел и схватился за голову; Птицын поспешно отвернулся. Хохотал, как и прежде, один лишь Фердыщенко. Про Ганю и говорить нечего: он все это время стоял, сдерживая невыносимую, мучительную ярость.

– Уверяю вас, – пробормотал генерал, – что со мной все произошло именно так...

– У отца, действительно, вышла неприятная история с мисс Смит, гувернанткой у Волконских, – выпалил Коля. – Я помню.

– Как! Точь-в-точь? Одна и та же история на разных концах страны, и все детали совпадают, вплоть до светло-голубого платья! – не унималась беспощадная. – Я вам эту вырезку из «Курьера» пришлю!

– Но поймите, – продолжал настаивать генерал, – со мной это случилось года три назад...

– А, вот оно что!

захохотала истерически.

– Папа, я прошу тебя выйти на пару слов, – дрожащим, измученным голосом произнес Ганя, машинально схватив отца за рукав. В его взгляде плескалась безграничная ненависть.

В этот самый момент раздался оглушительный звонок в дверь. Звонили так, словно хотели оторвать кнопку. Предвещался необычайный визит. Коля кинулся открывать.

Х.

В прихожей вдруг стало очень шумно и тесно; из гостиной казалось, что с улицы вошла целая толпа людей и все продолжают входить. Несколько голосов говорили и выкрикивали что-то одновременно; говорили и выкрикивали и на лестнице, дверь на которую из прихожей, как слышно было, оставалась открытой. Визит принимал странный оборот. Все переглянулись; Ганя бросился в прихожую, но и туда уже вошли какие-то люди.

– А, вот и Иуда! – заорал знакомый князю голос. – Здравствуй, Ганька, мерзавец!

– Он, он самый! – поддакнул другой голос. У князя не оставалось сомнений: один голос принадлежал Рогожину, а другой – Лебедеву.

Гриша, словно парализованный, застыл в дверях зала, безмолвно наблюдая, как вслед за Парфёном Роговым в помещение вливается человек десять, а то и двенадцать. Компания подбралась крайне разношёрстная, и дело было не только в разнообразии, но и в каком-то отталкивающем виде. Некоторые вошли прямо в уличной одежде, в куртках и пуховиках. Откровенно пьяных среди них не было, но все явно были изрядно навеселе. Казалось, каждому из них нужна была поддержка остальных, чтобы решиться войти; поодиночке ни у кого не хватило бы духу, но вместе они словно подталкивали друг друга. Даже Рогов, возглавлявший эту процессию, ступал неуверенно, хотя в его взгляде читалось какое-то намерение, и он казался мрачным и раздражённо-озабоченным. Остальные же представляли собой лишь свиту, или, скорее, банду поддержки. Помимо Лёхи Карася, здесь был и завитой Залежин, скинувший свою куртку в прихожей и вошедший развязной походкой, и пара-тройка похожих на него господ, явно из лавочников. Какой-то тип в полувоенном бушлате; какой-то маленький и чрезвычайно толстый мужичок, беспрестанно хихикавший; какой-то огромный детина под два метра ростом, тоже невероятно тучный, крайне угрюмый и молчаливый, и, очевидно, делавший ставку на свои кулаки. Затесался один студент-медик; один вертлявый полицейский. С лестничной площадки заглядывали в прихожую две какие-то дамы, но не решались войти; Коля захлопнул перед их носами дверь и задвинул щеколду.

– Здорово, Гришка, мерзавец! Что, не ждал Парфёна Рогова? – повторил Рогов, дойдя до гостиной и остановившись в дверях напротив Гриши. Но в этот момент он вдруг заметил в комнате, прямо перед собой, Алину Филипповну. Очевидно, он и представить себе не мог, что встретит её здесь, потому что её появление произвело на него ошеломляющее впечатление; он так побледнел, что даже губы его посинели. – Значит, это правда! – проговорил он тихо и как бы про себя, с совершенно потерянным видом; – конец!.. Ну... Ответишь же ты мне теперь! – проскрежетал он вдруг, с неистовой злобой глядя на Гришу... – Ну... ах!..

Он даже задышался, с трудом выговаривая слова. Машинально он двинулся в гостиную, но, переступив порог, вдруг увидел Нину Александровну и Варю и остановился, несколько смутившись, несмотря на своё волнение. За ним проследовал Карась, не отставая от него ни

на шаг, как тень, затем студент, громила с кулаками, Залежин, раскланивавшийся направо и налево, и, наконец, протиснулся коротенький толстяк. Присутствие дам несколько сдерживало их, и, очевидно, сильно мешало им, конечно, только до поры до времени, до первого крика и начала... Тогда уж никакие дамы не смогли бы их остановить.

– Как? И ты здесь, князь? – рассеянно пробормотал Рогов, отчасти удивлённый встречей с князем; – все при параде, э-эх! – вздохнул он, уже забыв о князе и снова переводя взгляд на Алину Филипповну, всё приближаясь и притягиваясь к ней, словно магнитом.

Алина Филипповна тоже с беспокойным любопытством разглядывала незваных гостей. Гриша, наконец, пришёл в себя.

– Позвольте, что это значит вообще? – громко произнес он, обводя строгим взглядом вошедших и обращаясь главным образом к Игнату: – Вы что, в притон попали, господа? Здесь моя мать и сестра...

– Видим, что мать и сестра, – пробурчал сквозь зубы Игнат.

– Это очевидно, что мать и сестра, – подтвердил для вида Лёха.

Мужик с кулаками, решив, видимо, что настал его час, начал что-то невнятно бормотать.

– Но тем не менее! – вдруг и как-то чрезмерно, взрывообразно повысил голос Гарик: – Во-первых, прошу всех пройти в гостиную, а во-вторых, позвольте узнать...

– Вишь, не узнает! – злобно ухмыльнулся Игнат, не двигаясь с места: – Игната не признал?

– Я, допустим, с вами где-то пересекался, но...

– Вишь, где-то пересекался! Да я тебе всего три месяца назад двести тысяч отцовских проиграл, старик от этого и помер, не успел узнать; ты меня втянул, а Костя мухлевал. Не знаешь? Петька свидетель! Да покажи я тебе три штуки баксов, вынь сейчас из кармана, так ты за ними на коленях до Пулково доползешь, – вот ты кто! Душонка твоя такая! Я и сейчас тебя за деньги приехал купить, не смотри, что я в берцах пришел, у меня денег, брат, полно, всего тебя со всем твоим скарбом куплю... захочу, всех вас куплю! Все куплю! – распаялся и словно пьянел все больше и больше Игнат. – Эх! – крикнул он: – Кира Филипповна! Не гоните, скажите словечко: вы за него замуж выходите или нет?

Игнат задал свой вопрос как безумец, как будто обращаясь к божеству, но со смелостью приговоренного к казни, которому уже нечего терять. В смертельной тоске ждал он ответа.

Кира Филипповна окинула его насмешливым и надменным взглядом, но потом посмотрела на Валу и на Нину Александровну, взглянула на Гарика и внезапно переменила тон.

– Совсем нет, что с вами? И с чего вы взяли спрашивать? – ответила она тихо и серьезно, и как бы с некоторым удивлением.

– Нет? Нет?! – вскричал Игнат, чуть не теряя рассудок от радости: – Так нет же?! А мне сказали... Ах! Ну!.. Кира Филипповна! Говорят, вы обручились с Гариком! С ним-то? Да разве это возможно? (Я им всем говорю!) Да я его всего за сто тысяч куплю, дам ему миллион, ну три, чтоб отступился, так он накануне свадьбы сбежит, а невесту всю мне оставит. Ведь так, Гарик, подлец! Ведь взял бы три миллиона! Вот они, вот! С тем и ехал, чтобы с тебя расписку такую взять; сказал: куплю, – и куплю!

– Пошел вон отсюда, ты пьян! – крикнул красневший и бледневший по очереди Гарик.

За его криком внезапно раздался взрыв нескольких голосов; вся команда Игната давно ждала сигнала. Лёха что-то с чрезвычайным усердием шептал на ухо Игнату.

– Правда, чиновник! – ответил Игнат: – Правда, пьяная душа! Эх, ладно. Кира Филипповна! – вскричал он, глядя на нее, как помешанный, робея и вдруг осмелевая до дерзости: – Вот восемнадцать миллионов! – и он швырнул перед ней на столик пачку в белой бумаге, перевязанную крест-накрест резинками. – Вот! И... и еще будет!

Он не решился озвучить, что именно крутилось у него в голове.

– Ни-ни-ни! – зашептал ему на ухо Лебедев, с перепуганным видом. Было ясно, что его ужаснула сумма, и он предлагал начать с чего-то гораздо более скромного.

– Нет, брат, тут ты совсем не понимаешь, куда влез... да и я, похоже, дурак с тобой заодно! – вдруг спохватился Рогожин, вздрогнув под пронзительным взглядом Анастасии Филипповны. – Эх! Наврал я, тебя послушал, – добавил он с искренним сожалением.

Анастасия Филипповна, внимательно посмотрев на растерянное лицо Рогожина, вдруг расхохоталась.

– Восемнадцать тысяч мне? Сейчас посмотрим, что за мужик! – внезапно заявила она с наглой фамильярностью и приподнялась с дивана, словно собираясь уйти. Ганя, затаив дыхание, наблюдал за происходящим.

– Так сорок тысяч, сорок, а не восемнадцать, – заорал Рогожин. – Ванька Птицын и Бискуп к семи вечера обещали сорок тысяч привезти. Сорок тысяч! Все на стол!

Сцена становилась все более отвратительной, но Анастасия Филипповна продолжала смеяться и не уходила, словно специально затягивала ее. Нина Александровна и Варя тоже поднялись со своих мест и испуганно, молча, ждали, чем все это закончится. Глаза Вари сверкали, а на Нину Александровну все это действовало крайне болезненно; она дрожала и, казалось, вот-вот потеряет сознание.

– А коли так – сто! Сегодня же сто тысяч покажу! Птицын, выручай, руки погреешь!

– Ты с ума сошел! – прошептал Птицын, быстро подходя к нему и хватая за руку. – Ты пьян, сейчас полицию вызовут. Ты где вообще?

– Врет спьяну, – проговорила Анастасия Филипповна, словно поддразнивая его.

– А вот и не вру, будут! К вечеру будут. Птицын, выручай, процентщик ты этакий, что хочешь бери, достань к вечеру сто тысяч; докажу, что не сдамся! – воодушевился Рогожин до восторга.

– Но, позвольте, что здесь происходит? – грозно и неожиданно воскликнул рассерженный Ардалион Александрович, приближаясь к Рогожину. Неожданность выходки молчаливого старика придала ей комичности. Послышался смех.

– Это еще что такое? – засмеялся Рогожин. – Пойдем, старик, проспишься!

– Это уже низость! – крикнул Коля, чуть не плача от стыда и обиды.

– Неужели среди вас не найдется никого, кто выведет эту нахалку отсюда! – воскликнула Варя, вся дрожа от гнева.

– Это меня-то нахалкой называют! – с пренебрежительной веселостью ответила Анастасия Филипповна. – А я, дура, приехала их к себе на вечер звать! Вот как ваша сестрица меня принимает, Гавриил Ардалионович!

Ганя несколько секунд стоял, словно пораженный молнией, от выходки сестры. Но увидев, что Анастасия Филипповна действительно собирается уходить, он в исступлении бросился на Варю и в ярости схватил ее за руку.

– Что ты натворила? – закричал он, глядя на нее так, словно хотел испепелить ее на месте. Он совершенно потерял голову и плохо понимал, что делает.

– Что ты творишь? Куда волочешь? Неужели извиняться за то, что она мать твою оскорбила и в дом твой явилась скандалить? Ничтожный ты человек! – выкрикнула Варя, торжествуя и вызывающе глядя на брата.

Несколько долгих мгновений они стояли лицом к лицу. Герман все еще сжимал ее руку. Варя дернула раз, другой, изо всех сил, но не смогла вырваться и вдруг, потеряв самообладание, плюнула брату прямо в лицо.

– Ну, молодец! – воскликнула Полина Филипповна. – Bravo, Птицын, поздравляю!

У Германа в глазах потемнело, и он, забыв обо всем, замахнулся на сестру. Удар неминуемо пришелся бы ей в лицо. Но внезапно другая рука остановила его.

Между ним и Варей стоял Кирилл.

– Довольно, прекратите! – произнес он настойчиво, но и сам дрожал, словно от сильнейшего потрясения.

– Да ты всегда мне дорогу переходишь! – взревел Герман, отпустив руку Вари, и освободившейся рукой, в ярости, со всего размаха ударил Кириллу по щеке.

– Ах! – ахнул Коля. – Боже мой! Восклицания раздались со всех сторон. Кирилл побледнел. Со странным, укоряющим взглядом он посмотрел Герману прямо в глаза; губы его дрожали и пытались что-то сказать; какая-то неуместная улыбка исказила их.

– Ну, это я... прощу... а ее... все равно не дам... – тихо произнес он наконец, но вдруг не выдержал, отвернулся от Германа, закрыл лицо руками, отошел в угол, встал лицом к стене и прерывающимся голосом проговорил: – О, как вы потом будете стыдиться своего поступка!

Герман действительно стоял, словно раздавленный. Коля бросился обнимать и целовать Кириллу; за ним Рогожин, Варя, Птицын, Нина Александровна, все, даже старик Ардалион Александрович.

– Ничего, ничего! – бормотал Кирилл, с той же неуместной улыбкой.

– И будет каяться! – закричал Рогожин. – Будешь стыдиться, Герка, что такую... овцу (он не мог подобрать другого слова) оскорбил! Кирилл, душа моя, брось их, плюнь на них, поедем! Узнаешь, как любит Рогожин!

Полина Филипповна тоже была поражена и поступком Германа, и ответом Кириллы. Обычно бледное и задумчивое лицо ее, так не гармонизировавшее с ее прежним смехом, было взволновано новым чувством; однако она словно не хотела его показывать, и насмешка словно усиливалась на ее лице.

– Где-то я видела его лицо! – произнесла она вдруг серьезно, вспомнив свой прежний вопрос.

– А вам не стыдно! Разве вы такая, какой сейчас представляетесь? Да может ли это быть! – воскликнул Кирилл с глубоким сердечным укором.

Полина Филипповна удивилась, усмехнулась, но словно что-то пряча под улыбкой, несколько смутившись, взглянула на Германа и пошла из гостиной. Но не дойдя до прихожей, вдруг вернулась, быстро подошла к Нине Александровне, взяла ее руку и поднесла к губам.

– Да я и правда не такая... – прошептала она, вспыхнув краской, словно от внезапного ожога. Развернувшись, она выскользнула из комнаты так стремительно, что никто не успел понять, зачем она вернулась. Лишь заметили, как она что-то шепнула Ирине Петровне и, кажется, коснулась ее руки губами. Варя, наблюдавшая за ней, была поражена.

Артем опомнился и кинулся вслед за Аллой Филипповной, но она уже была за дверью. Он настиг ее на лестничной площадке.

– Не надо провожать! – бросила она через плечо. – До вечера! Обязательно, слышите?

Он вернулся в квартиру растерянный, погруженный в раздумья. Тяжелое предчувствие сдавило его сердце, еще сильнее, чем прежде. В голове мелькнул образ Кириллы... Он был настолько рассеян, что едва заметил, как мимо него пронеслась шумная компания, вывалившаяся из квартиры вслед за Кириллом. Все возбужденно обсуждали что-то. Сам Кирилл шел рядом с Олегом и что-то горячо доказывал, явно торопясь.

– Пролетел, Артемка! – крикнул он, проходя мимо. Артем с тревогой посмотрел им вслед.

XI.

Лев вышел из гостиной и заперся в своей комнате. Сразу же прибежал Денис, чтобы утешить его. Казалось, этот мальчик теперь не мог от него отвязаться.

– Правильно, что ушли, – заявил он. – Там сейчас такой бедлам начнется, еще хуже, чем раньше. И так у нас каждый день, и все из-за этой Аллы Филипповны.

– У вас тут много всего накопилось, Денис, – заметил Лев.

– Да уж, накопилось. Про нас и говорить нечего. Сами виноваты. А у меня есть один друг, ему еще хуже. Хотите, я вас познакомлю?

– Очень хочу. Твой одноклассник?

– Ну, почти одноклассник. Я вам потом все расскажу... А Алла Филипповна красивая, как по-вашему? Я ведь ее до этого ни разу не видел, хотя очень хотел. Просто ослепила. Я бы Артему все простил, если бы он по любви; но зачем он деньги берет, вот в чем беда!

– Да, твой брат мне не очень нравится.

– Еще бы! Вам-то после... Знаете, терпеть не могу эти общественные мнения. Какой-нибудь псих или дурак, или отморозок даст пощечину, и все, человек на всю жизнь опозорен, и смыть это можно только кровью, или чтобы у него на коленях прощения вымаливали. По-моему, это бред и пережиток прошлого. На этом у Лермонтова "Маскарад" построен, и – глупо, по-моему. Ну, то есть, я хочу сказать, неправдоподобно. Хотя он ее почти в юности написал.

– Мне твоя сестра очень понравилась.

– Как она Артемке в лицо плюнула! Смелая Варька! А вы так не плюнули, и я уверен, что не потому, что смелости не хватает. О, вот и она сама, легка на помине. Я знал, что она придет; она честная, хоть и не без греха.

– А тебе тут нечего делать, – накинулась на него Варя. – Иди к отцу. Он вам не надоедает, Лев Николаевич?

– Совсем нет, наоборот.

– Ну, пошли, старший! Вот это в ней и плохо. Кстати, я думал, что отец точно с Кириллом уедет. Наверное, теперь жалеет. Надо посмотреть, что с ним на самом деле, – добавил Денис, выходя.

– Слава богу, маму успокоила и уложила, и истерика не повторилась. Гавриил смущен и глубоко задумался. Есть над чем. Какой урок! Я еще раз поблагодарить пришла и спросить, Лев Николаевич: вы до сих пор с Алевтиной Филипповной не знакомы?

– Нет, не был знаком.

– С чего вдруг вы ей прямо сказали, что она "не такая"? И, кажется, попали в точку. Оказалось, что и правда, может, не такая. Впрочем, я ее не понимаю! Конечно, хотела оскорбить, это ясно. Я и раньше о ней много странного слышала. Но если она приехала нас звать, то почему так с мамой обращалась? Птицын ее отлично знает, говорит, что тоже не мог ее узнать. А с Родионом? Так нельзя разговаривать, если себя уважаешь, в чужом доме... Мама тоже о вас волнуется.

– Ничего! – отмахнулся Лев Николаевич.

– И как она вас послушалась...

– Чего послушалась?

– Вы ей сказали, что ей стыдно, и она вдруг изменилась. Вы на нее влияете, Лев Николаевич, – добавила Варвара, слегка усмехнувшись.

Дверь распахнулась, и неожиданно вошел Гавриил. Он даже не смутился, увидев Варвару; помедлил у порога и решительно подошел к Льву Николаевичу.

– Лев Николаевич, я поступил низко, простите меня, пожалуйста, – выпалил он с чувством. На лице – боль. Лев Николаевич удивленно смотрел и не сразу ответил. – Ну, простите, простите же! – нетерпеливо повторил Гавриил. – Хотите, я вам руку поцелую?

Лев Николаевич поразился и молча обнял Гавриила. Они искренне поцеловались.

– Я никак не думал, что вы такой! – наконец сказал Лев Николаевич, переводя дух. – Я думал, вы... не способны.

– Признать вину? С чего я решил, что вы... не в себе? Вы замечаете то, чего другие не видят. С вами можно поговорить, но... лучше не надо!

– Вот перед кем еще извинитесь, – указал Лев Николаевич на Варвару.

– Нет, это мои враги. Поверьте, Лев Николаевич, много было испытаний; здесь искренне не прощают! – горячо вырвалось у Гавриила, и он отвернулся от Варвары.

– Нет, прощуй! – вдруг сказала Варвара.

– И к Алевтине Филипповне вечером поедешь?

– Поеду, если скажешь, но сам подумай: есть ли смысл мне сейчас ехать?

– Она ведь не такая. Загадки загадывает! Фокусы! – Гавриил злобно засмеялся.

– Сама знаю, что не такая, и с фокусами. И еще, Гавриил, кем она тебя считает? Пусть она маме руку поцеловала. Пусть это фокусы, но она ведь над тобой смеялась! Это не стоит семидесяти пяти тысяч, честное слово! Ты еще способен на благородство, потому и говорю. Не ездь! Остерегайся! Ничего хорошего не выйдет!

Взволнованная Варвара быстро вышла из комнаты.

– Они все такие! – усмехнулся Гавриил. – Неужели они думают, что я сам не знаю? Да я больше их знаю.

Гавриил сел на диван, явно намереваясь продолжить разговор.

— Если ты сам в курсе, — достаточно тихо спросил Ярослав, — то зачем ты ввязался в эту аферу, зная, что она и половины этих денег не стоит?

— Я не об этом, — пробормотал Геннадий. — Кстати, скажи, что ты думаешь? Мне важно твое мнение: эта "афера" стоит тех ста пятидесяти тысяч или нет?

— По-моему, нет.

— Ну, понятно. И жениться на ней позорно?

— Очень позорно.

— Тогда знай, я женюсь, и теперь уже точно! Раньше сомневался, а сейчас нет! Не перебивай! Я знаю, что ты хочешь сказать...

— Я не о том, что ты думаешь. Меня удивляет твоя уверенность...

— В чем? Какая уверенность?

— В том, что Антонина Филипповна обязательно согласится, что все уже решено. И, во-вторых, даже если согласится, что эти сто пятьдесят тысяч ты получишь прямо в руки. Впрочем, я, конечно, многого не знаю.

Геннадий резко повернулся к Ярославу.

— Конечно, ты всего не знаешь, — сказал он, — с чего бы мне посвящать тебя в детали?

— Мне кажется, это обычное дело: женятся из-за денег, а деньги у жены.

— Н-нет, у нас не так... Тут... тут есть нюансы... — пробормотал Геннадий, задумавшись. — А насчет ее ответа, тут все ясно, — быстро добавил он. — Почему ты думаешь, что она откажет?

— Я знаю только то, что видел. Вот и Варвара Ардалионовна говорила...

— Э! Они просто болтают, не знают, что сказать. А над Игнатом она смеялась, я уверен, я это заметил. Это было видно. Раньше сомневался, а теперь понял. Или, может, как она с матерью, с отцом, с Варей обращалась?

— И с тобой.

— Возможно; но тут старая женская обида, и ничего больше. Она очень раздражительная, мнительная и самолюбивая. Как чиновник, которого обошли чином! Ей хотелось показать себя и свое пренебрежение к ним... ну, и ко мне; это правда, не отрицаю... Но все равно за меня выйдет. Ты не представляешь, на что способно человеческое самолюбие: она считает меня мерзавцем за то, что я ее, чужую любовницу, беру за деньги, а не понимает, что другой бы ее еще подлее обманул: начал бы ей либеральные речи толкать, про женское равноправие говорить, и она бы у него как нитка в иголку прошла. Уверил бы самолюбивую дуру (это так легко!), что берет ее за "благородство сердца и за несчастья", а сам бы на деньгах женился. Я не нравлюсь, потому что не хочу лицемерить; а надо бы. А она сама что делает? Не то же

самое? Так за что она меня презирает и эти игры затевает? За то, что я не сдаюсь и гордость показываю. Ну, посмотрим!

— Неужели ты ее любил до этого?

— Любил, было дело. Ладно, хватит об этом... Есть женщины, созданные лишь для роли любовниц, и ни для чего больше. Не утверждаю, что Лизавета была моей любовницей. Если захочет жить тихо – и я буду тихим. Если же вздумает бунтовать – тут же брошу, и деньги при себе оставлю. Не хочу выглядеть глупо, прежде всего, не хочу быть смешным.

– Мне кажется, – осторожно заметил Кирилл, – что Лизавета умна. Зачем ей, предчувствуя такие страдания, лезть в петлю? Могла бы и за другого замуж пойти. Вот что меня удивляет.

– А вот тут-то весь расчет! Ты не все знаешь, Кирилл... тут... и, кроме того, она уверена, что я люблю ее до безумия, клянусь тебе. И, знаешь, я крепко подозреваю, что и она меня любит, по-своему, то есть, знаешь поговорку: "Кого люблю, того и бью". Она всю жизнь будет считать меня пустым местом (да это ей, может быть, и нужно), и все равно любить по-своему. Она к этому готовится, такой уж у нее характер. Она очень русская женщина, скажу я тебе. Ну, а я ей свой сюрприз готовлю. Эта сцена с Верой случилась случайно, но мне на руку: она теперь видела и убедилась в моей преданности, и что я все связи ради нее разорву. Значит, и мы не дураки, будь уверен. Кстати, ты что, думаешь, я такой уж болтун? Я, дружище Кирилл, может, и правда зря тебе доверяюсь. Но именно потому, что ты первый из порядочных людей мне встретился, я на тебя и набросился, то есть "набросился" не принимай за шутку. Ты за то не сердись? Я первый раз, может быть, за два года говорю от души. Здесь ужасно мало честных людей: честнее Птицына нет. Что, ты смеешься, что ли? Негодяи любят честных людей, ты этого не знал? А я ведь... А впрочем, чем я негодяй, скажи мне честно? Что они все вслед за ней меня негодьяем называют? И знаешь, вслед за ними и за ней я и сам себя негодьяем называю! Вот что подло, так подло!

– Я тебя негодьяем больше не буду считать, – сказал Кирилл. – Тогда я тебя уже совсем за злодея принял, и вдруг ты меня так обрадовал. Вот и урок: не судить, не имея опыта. Теперь я вижу, что тебя не только за злодея, но и за слишком испорченного человека считать нельзя. Ты, по-моему, просто самый обыкновенный человек, какой только может быть, разве что слабый очень и совсем не самобытный.

Геннадий язвительно усмехнулся про себя, но промолчал. Кирилл увидел, что его отзыв не понравился, смутился и тоже замолчал.

– Отец у тебя денег просил? – спросил вдруг Геннадий.

– Нет.

— Не давайте повода. А ведь когда-то был вполне приличный человек, я помню. Его в приличные дома звали. И как же быстро они все исчезают, эти старые, порядочные люди! Стоит лишь обстоятельствам измениться, и нет ничего прежнего, словно спичка сгорела. Раньше он так не врал, уверяю вас; прежде он был лишь излишне восторженным, и – вот во что это вылилось! Конечно, водка виновата. Знаете, что он любовницу завел? Он теперь уже не просто безобидный фантазер. Не понимаю, как у мамы хватает терпения. Рассказывал он вам про штурм Мариуполя? Или про то, как у него дрон заговорил? Он ведь до такого доходит.

И Гоша вдруг расхохотался.

— Чего вы так на меня смотрите? — спросил он у Кирилла.

— Да я удивляюсь, что вы так искренне смеетесь. У вас, право, еще детский смех остался. Недавно вы пришли мириться и говорите: "Хотите, я вам руку пожму", — это точно как дети мирятся. Значит, еще способны вы к таким словам и жестам. И вдруг начинаете читать целую проповедь об этом мраке и о этих миллионах. Право, все это как-то нелогично и не может быть правдой.

— Что вы хотите этим сказать?

— То, что вы не слишком ли опрометчиво поступаете? Не стоит ли вам сначала все обдумать? Вероника, возможно, и права.

— Ах, нравственность! Да я и сам знаю, что еще мальчишка, — с жаром перебил его Гарик, — и уж одним тем, что с вами откровенничаю. Я, кент, не из-за бабок в эту муть лезу, — проговорился он, как юнец, задетый за живое, — если б ради выгоды, точно бы прогорел, мозги еще не окрепли. Меня страсть толкает, у меня цель — ого-го! Вы думаете, я семьдесят пять штук получу и сразу тачку куплю? Да я тогда свой старый пуховик до дыр заношу и все тусовки пропущу. Мало кто выдерживает, хотя все барыги, а я хочу до конца дойти. Главное — финиш, вот что важно! Вон Птицын в семнадцать лет на вокзале ночевал, ножичками перочинными торговал и с копейки поднялся; сейчас у него шестьдесят тысяч, но сколько он пахал! А я эту каторгу перескочу и сразу с капитала начну; лет через пятнадцать скажут: "Вот Иволгин, царь горы". Вы говорите, что я не самобытный. Знайте, уважаемый, нет ничего обиднее для современного человека, чем услышать, что он серый, без талантов и ничем не примечателен. Вы меня даже мерзавцем не сочли, и, знаете, я вас за это чуть не придушил! Вы меня сильнее Епанчина задели, который считает меня (без задней мысли, заметьте) способным ему жену продать! Это меня давно уже достало, и я денег хочу. Накоплю бабла, и я стану самым самобытным человеком. Деньги тем и мерзки, что они даже таланты покупают. И будут покупать всегда. Вы скажете, это все по-детски или, может, поэзия, — ну и ладно, мне веселее будет, а дело сделаю. Доведу до конца. Хорошо смеется тот, кто смеется последним! Почему Епанчин меня гнобит? Из вредности? Да нет. Просто потому, что я для него никто. Ну, а потом... Ладно, хватит болтать. Колян уже два раза выглядывал: это он вас жрать зовет. А я пойду. Загляну к вам как-нибудь. Вам у нас понравится; вас сразу в семью примут. Только молчите. Мне кажется, мы с вами либо друзьями, либо врагами станем. А как думаете, кент, если б я вам руку поцеловал (как хотел), стал бы я вам потом врагом?

— Обязательно стали бы, но не навсегда, потом не выдержали бы и простили, — решил князь, подумав и улыбнувшись.

— Эге! Да с вами надо держать ухо востро. Черт знает, вы и тут яду подлили. А кто знает, может, вы мне и враг? Кстати, ха-ха-ха! Забыл спросить: правда, мне показалось, что вам как-то слишком нравится, а?

— Да... нравится.

— Влюблены?

— Н-нет.

Артём покраснел до кончиков ушей и явно страдал. Ладно, не буду смеяться; до встречи. Знаете, она ведь порядочная женщина, верите? Думаете, она спит с этим... с Крутицким? Ничего подобного! Давно уже. Заметили, как она держалась скованно, и несколько раз смутилась? Вот такие и любят доминировать. Ну, пока!

Гриша вышел гораздо увереннее, чем вошел, и явно в хорошем расположении духа. Лёха минут десять сидел неподвижно, погруженный в раздумья.

Колян снова просунул голову в дверь.

— Я не хочу есть, Колян; я только что у Зотовых плотно позавтракал.

Колян вошел и протянул Лёхе записку. От генерала, сложенную и запечатанную. По лицу Коляна было видно, как тяжело ему было ее передавать. Лёха прочитал, поднялся и взял куртку.

— Это два шага, — смущенно сказал Колян. — Он сейчас там сидит, заливаает за воротник. И как он себе там кредит заработал, не понимаю? Лёх, братан, только не говори потом нашим, что это я тебе записку передал! Клялся сто раз эти записки не носить, но жалко его; и вот что, ты с ним не церемонься: дай ему немного денег, и дело с концом.

— У меня, Колян, и самого мысль была; мне твоего отца увидеть надо... по одному делу... Пошли...

ХП.

Колян проводил Лёху недалеко, до Садовой, в бильярдную, в подвале, вход с улицы. Там направо, в углу, в отдельной кабинке, как старый завсегдатай, сидел Ардалион Александрович, с початой бутылкой на столе и газетой "Независимая Трибуна" в руках. Он ждал Лёху; как только увидел, отложил газету и начал горячо и многословно оправдываться, в чем Лёха почти ничего не понял, потому что генерал был уже изрядно пьян.

– Десяти тысяч у меня нет, – перебил Лёха, – а вот двадцать пять, разменяйте и отдайте мне пятнадцать, а то я совсем без денег останусь.

– О, конечно; и будьте уверены, что это сию же минуту...

– У меня к вам еще просьба, Ардалион Александрович. Вы у Инны Филипповны бывали?

– Я? Я не бывал? Вы мне это говорите? Несколько раз, друг мой, несколько раз! – воскликнул генерал с самодовольной и торжествующей иронией. – Но я, в конце концов, сам прекратил, потому что не хочу поощрять этот непристойный союз. Вы сами видели, вы были свидетелем сегодня утром: я сделал все, что мог сделать отец, но отец мягкий и снисходительный; теперь же выйдет отец другого склада, и тогда посмотрим: победит ли заслуженный ветеран интригу, или бесстыдная содержанка войдет в благороднейшее семейство.

– А я вас как раз хотел попросить, не могли бы вы, как знакомый, представить меня сегодня вечером Инне Филипповне? Мне это нужно непременно сегодня; у меня дело; но я совсем не знаю, как туда попасть. Меня сегодня представляли, но все равно не пригласили: сегодня у нее вечеринка. Я, в принципе, готов пренебречь некоторыми приличиями, и пусть даже смеются надо мной, лишь бы как-нибудь попасть.

– Вы абсолютно, совершенно угадали мою задумку, мой юный друг! – воскликнул генерал в порыве восторга. – Я ведь не из-за этой мелочи вас позвал! – добавил он, ловко подхватывая деньги и пряча их в карман. – Я именно хотел предложить вам стать моим компаньоном в походе к Веронике Филипповне, или, если хотите, в наступлении на Веронику Филипповну! Генерал Епанчин и князь! Каково, а? Я под видом поздравления с днем рождения выскажу ей наконец свою волю – не напрямую, конечно, а завуалированно, но так, чтобы все было понятно. Тогда уж Гавриил сам решит, как ему быть: с заслуженным отцом и... так сказать... и прочее, или... Но что будет, то будет! Ваша идея просто гениальна. Выдвигаемся в девять, время еще есть.

– Где она живет?

– Далековато отсюда: на Тверской, дом Соколовой, почти у самой площади, на втором этаже... Большого приема у нее не будет, хоть и именинница, так что разойдутся рано...

Вечер давно наступил; князь все сидел, слушал и ждал генерала, который без конца начинал разные истории и ни одну не заканчивал. Сразу после прихода князя он заказал новую бутылку и выпил ее почти залпом, а через час потребовал еще одну, которую тоже осилил. Можно сказать, что генерал успел рассказать почти всю свою жизнь. Наконец, князь поднялся и заявил, что больше ждать не может. Генерал допил остатки из бутылки, встал и вышел из комнаты, шатаясь. Князь был в отчаянии. Он не понимал, как мог так глупо довериться. Впрочем, он никогда никому не доверял; он рассчитывал на генерала лишь для того, чтобы хоть как-то попасть к Веронике Филипповне, пусть даже со скандалом, но не рассчитывал на такой уж грандиозный скандал: генерал оказался совершенно пьян, красноречив до невозможности и говорил без умолку, с чувством и слезами в голосе. Речь шла о том, что из-за отвратительного поведения всех членов его семьи все рушится и что этому пора положить конец. Наконец, они вышли на Садовое кольцо. Оттепель продолжалась; унылый, теплый и гнилой ветер гулял по улицам, машины шлепали по грязи, шины громко шуршали, пешеходы унылой и мокрой толпой бродили по тротуарам. Встречались пьяные.

– Видите эти светящиеся окна второго этажа? – вещал генерал, – Там все мои сослуживцы обитают. А я, самый заслуженный и пострадавший из них, вынужден пешком тащиться к Боль-

шому театру, к сомнительной даме! Человек, в теле которого тринадцать пуль... Не верите? А ведь ради меня лично Пирогов слал телеграммы в Париж, Севастополь, находящийся в осаде, был временно оставлен. Нелатон, парижский лейб-медик, выхлопотал пропуск во имя науки и прибыл в осажденный Севастополь, чтобы меня осмотреть. Об этом известно самому высшему начальству: "А, это тот самый Иволгин, у которого тринадцать пуль!" Вот как говорят! Видите этот дом, князь? Там, на втором этаже, живет старый товарищ, генерал Соколович, с прекрасной и многочисленной семьей. Этот дом, плюс еще три на Невском и два на Морской – вот и весь мой нынешний круг общения, точнее, круг личных знакомств. Нина Александровна давно смирилась с обстоятельствами. А я все еще вспоминаю... и, так сказать, отдыхаю в культурном обществе бывших сослуживцев и подчиненных, которые до сих пор меня боготворят. Этот генерал Соколович (хотя я давно у него не был и Анну Федоровну не видел)... знаете, князь, когда сам не принимаешь, то невольно перестаешь и к другим ходить. А между тем... гм... вы, кажется, не верите... Впрочем, почему бы мне не представить сына моего лучшего друга и товарища детства этому очаровательному семейству? Генерал Иволгин и князь! Вы увидите изумительных девушек, не одну, а целых трех, украшение столицы и общества: красота, образованность, взгляды... женский вопрос, стихи, все это счастливо сочетается, не считая, разумеется, восьмидесяти тысяч рублей приданого, чистыми деньгами, за каждой, что никогда не помешает, ни при каких женских и социальных вопросах... Одним словом, я непременно должен вас представить. Генерал Иволгин и князь!

– Сейчас? Прямо сейчас? Но вы забыли, – попытался возразить князь.

– Ничего я не забыл, идем! Сюда, на эту великолепную лестницу. Удивляюсь, что нет консьержа, но... праздник, наверное, отлучился. Все еще не выгнали этого пьяницу. Соколович всем своим счастьем в жизни и карьере обязан мне, только мне и никому другому, но... вот мы и пришли.

Князь более не прекословил визиту и покорно следовал за генералом, стараясь не вызвать его раздражения. Он лелеял надежду, что генерал Белоногов и вся его родня постепенно растворятся, словно мираж, и окажутся плодом его воображения, после чего они спокойно спустятся обратно по лестнице. Однако, к его ужасу, эта надежда начала таять: генерал уверенно вел его вверх, как человек, действительно знающий здесь кого-то, и поминутно вставлял биографические и топографические детали, отличавшиеся математической точностью. Наконец, когда, поднявшись на второй этаж, они остановились справа от двери роскошной квартиры, и генерал потянулся к кнопке звонка, князь окончательно решил сбежать; но одно странное обстоятельство задержало его на мгновение:

– Вы ошиблись, генерал, – произнес он, – на двери табличка "Кулаков", а вы звоните к Белоногову.

– Кулаков... Кулаков ничего не значит. Здесь квартира Белоногова, и я звоню к Белоногову; плевать на Кулакова... А, вот и открывают.

Дверь действительно распахнулась. В проеме появился лакей и объявил, что "хозяев нет дома-с".

– Как жаль, как жаль, и как не вовремя! – с искренним сожалением повторил несколько раз Аркадий Петрович. – Передайте, голубчик, что генерал Ермаков и князь Орлов хотели засвидетельствовать свое почтение и чрезвычайно, чрезвычайно огорчены...

В этот момент в открытую дверь из комнат выглянула еще одна фигура, по всей видимости, домоправительницы, возможно, даже гувернантки, дамы лет сорока, облаченной в темное платье. Она приблизилась с любопытством и недоверием, услышав имена генерала Ермакова и князя Орлова.

– Анны Викторовны нет дома, – произнесла она, пристально разглядывая генерала, – уехали с барышней, с Верой Михайловной, к бабушке.

– И Вера Михайловна с ними, о боже, какое несчастье! И представьте себе, сударыня, всегда мне так не везет! Прошу вас передать мой поклон, а Вере Михайловне, чтобы вспомнила... одним словом, передайте им мое сердечное пожелание того, чего они сами себе желали в среду, вечером, под звуки романса Рахманинова; они помнят... Мое сердечное пожелание! Генерал Ермаков и князь Орлов!

– Не забуду-с, – поклонилась дама, проникнувшись доверием. Спускаясь по лестнице, генерал, все еще пылая энтузиазмом, продолжал сожалеть о том, что они не застали хозяев, и что князь лишился "такого восхитительного знакомства".

– Знаете, мой друг, я немного поэт в душе, – вы заметили это? А впрочем... впрочем, кажется, мы не совсем туда зашли, – заключил он вдруг совершенно неожиданно: – Белоноговы, я сейчас вспомнил, живут в другом доме и, кажется, сейчас в Питере. Да, я немного ошибся, но это... ничего.

– Я лишь об одном хотел бы знать, – уныло произнес князь, – должен ли я окончательно перестать на вас рассчитывать и не отправиться ли мне одному?

– Прекратить? Отступить? Самому? С какой стати, когда на кону стоит судьба всей моей семьи, когда это дело – самое важное в моей жизни? Эх, юноша, плохо вы знаете Игнатова! Игнатов – это скала! На Игнатова можно положиться, как на каменную стену! Так говорили еще в училище, где я начинал службу. Мне тут по пути нужно заскочить в одно место, где моя душа отдыхает вот уже несколько лет, после всех тревог и испытаний...

– Вы хотите зайти домой? – уточнил князь.

– Нет! Я хочу... к Агафье Петровне Соколовой, вдове майора Соколова, моего бывшего подчиненного... и даже друга... У Агафьи Петровны я душой отдыхаю, ей несу все свои житейские горести... А сегодня у меня особенно тяжелый груз на сердце, так что я просто обязан...

– Мне кажется, я уже совершил огромную глупость, – пробормотал князь, – что вообще вас побеспокоил. К тому же вам сейчас... Прощайте!

– Нет, нет, я не могу вас отпустить, мой юный друг! – воскликнул генерал. – Агафья Петровна – мать семейства, она умеет затронуть в моей душе самые тонкие струны. Визит к ней – это всего пять минут, в этом доме я как дома, без всяких церемоний. Умоюсь, приведу себя в порядок, и тогда на такси поедem в "Геликон-оперу". Поверьте, вы мне нужны на весь вечер... Вот, мы уже и пришли... А, Коля, ты уже здесь? Агафья Петровна дома, или ты только что пришел?

– О, нет, – ответил Коля, столкнувшись с ними у подъезда, – я тут давно, с Ипполитом, ему сегодня утром совсем плохо было. Я сейчас в "Красное и Белое" за картами для него ходил. Агафья Петровна вас ждет. Только, папа, вы... – Коля внимательно посмотрел на походку и осанку генерала. – Ну, пойдemте!

Встреча с Колей убедила князя все-таки сопроводить генерала к Агафье Петровне, хотя бы на минутку. Князю нужен был Коля; генерала же он в любом случае решил бросить и простить себе не мог, что вообще на него понадеялся. Поднимались долго, на четвертый этаж, по темной лестнице.

– Князя познакомить хотите? – спросил Коля по дороге.

– Да, друг мой, познакомить: генерал Игнатов и князь, но что... как... Агафья Петровна...

– Знаете, папа, лучше бы вам не ходить! Съест! Третий день носа не кажете, а она денег ждет. Зачем вы ей денег-то обещали? Вечно вы так! Теперь и расплачивайтесь.

На четвертом этаже остановились перед низкой дверью. Генерал явно робел и проталкивал вперед князя.

– А я останусь здесь, – пробормотал он, – хочу сделать сюрприз...

Коля вошел первым. Какая-то дама, густо покрашенная, в халате и с косичками, лет сорока, выглянула из двери, и сюрприз генерала неожиданно провалился. Как только дама увидела его, она тут же закричала:

– Вот он, подлый и лживый человек! Сердце мое чуяло!

– Войдемте, это так, – бормотал генерал князю, все еще невинно улыбаясь.

Однако, все обернулось иначе. Едва они миновали темный и тесный коридор и очутились в небольшой гостиной, где стояли лишь несколько плетеных кресел и пара игорных столиков, как хозяйка, словно по заученному сценарию, с причитаниями в голосе, начала:

— И тебе не стыдно, варвар и мучитель моей семьи, кровопийца и изверг! Обобрал меня до нитки, высосал все соки, и все тебе мало! Доколе я буду терпеть тебя, бесстыжий и бессовестный ты человек!

— Антонина Петровна, Антонина Петровна! Это... Кирилл Максимович. Генерал Ермаков и Кирилл Максимович, — пробормотал растерянный и перепуганный генерал.

— Вы верите, — вдруг обратилась капитанша к Кириллу, — вы верите, что этот бессовестный человек не пощадил моих сирот! Все разграбил, все вынес, все продал и заложил, ничего не оставил. Что мне делать с твоими расписками, хитрый и бессовестный ты человек? Отвечай, лицемер, отвечай мне, ненасытное чудовище: чем, чем я накормлю моих сиротских детей? Вот является пьяный и на ногах не стоит... Чем я прогневала господ бога, мерзкий и отвратительный обманщик, отвечай?

Но генералу было совсем не до того.

— Антонина Петровна, три тысячи рублей... все, что могу благодаря помощи благороднейшего друга. Кирилл Максимович! Я жестоко ошибся! Такова... жизнь... А теперь... извините, я слаб, — продолжал генерал, стоя посреди комнаты и кланяясь во все стороны; — я слаб, извините! Олечка! Подушку... милая!

Олечка, восьмилетняя девочка, тут же принесла подушку и положила ее на старый, клеенчатый диван. Генерал сел на него, собираясь еще многое сказать, но едва коснулся дивана, как тут же завалился на бок, отвернулся к стене и заснул крепким сном. Антонина Петровна церемонно и печально указала Кириллу на стул у игорного столика, сама села напротив, подперла рукой щеку и начала молча вздыхать, глядя на Кирилла. Трое маленьких детей, две девочки и мальчик, из которых Олечка была старшей, подошли к столу, положили на него руки и тоже стали пристально рассматривать Кирилла. Из другой комнаты показался Вадим.

— Я очень рад, что встретил вас здесь, Вадим, — обратился к нему Кирилл, — не могли бы вы мне помочь? Мне срочно нужно попасть к Светлане Викторовне. Я просил Ардалиона Александровича, но он вот заснул. Проводите меня, потому что я не знаю ни улиц, ни дороги. Адрес, впрочем, у меня есть: у метро "Площадь Восстания", дом Соловьевой.

— Светлана Викторовна? Да она никогда и не жила у "Площади Восстания", а отец никогда и не был у Светланы Викторовны, если хотите знать; странно, что вы от него чего-нибудь ожидали. Она живет на Петроградской, у Каменноостровского проспекта, это гораздо ближе отсюда. Вам сейчас? Уже почти десять. Идемте, я вас провожу.

Кирилл и Вадим тотчас же вышли. Увы! У Кирилла не было денег даже на такси, пришлось идти пешком.

– Я хотел познакомить вас с Игнатом, – проговорил Костик. – Он старший сын этой, как её... капитанши Забелиной, он в соседней комнате, приболел и весь день валяется. Но он чудной какой-то; очень уж ранимый, и я подумал, что ему будет неловко перед вами, раз вы пришли в такой момент... Мне всё-таки не так стыдно, как ему, потому что у меня отец есть, а у него только мать, тут ведь разница, мужчине в таком случае позора нет. Хотя, может, это и устаревший взгляд насчет главенства полов. Игнат отличный парень, но он в плену у всяких предрассудков.

– Вы говорите, у него туберкулёз?

– Да, кажется, лучше бы ему поскорее умереть. Я бы на его месте точно хотел бы умереть. Ему братьев и сестёр жалко, этих маленьких. Если бы можно было, если бы только деньги, мы бы с ним сняли квартиру и ушли бы из семей. Это наша мечта. А знаете, когда я рассказал ему про ваш случай, он даже взбесился, говорит, кто пропустит удар и не вызовет на поединок, тот мерзавец. Впрочем, он очень нервный, я с ним даже спорить перестал. Так вот как, вас, значит, сразу к себе позвала?

– В том-то и дело, что нет.

– Как же вы идёте? – воскликнул Костик и даже замер посреди тротуара. – И... и в таком виде, а там приём?

– Честное слово, не знаю, как я войду. Примут – хорошо, нет – значит, не судьба. А насчет вида, что тут поделаешь?

– А у вас дело? Или вы просто, чтобы развлечься в "высшем обществе"?

– Нет, я собственно... то есть, я по делу... мне сложно это объяснить, но...

– Да неважно, как именно, делайте что хотите, лишь бы вы там не просто так просиживали вечера в компании этих светских львиц, банкиров и генералов. Если бы это было так, простите, Родион, я бы только посмеялся над вами и перестал бы уважать. Сейчас так мало порядочных людей, что и уважать-то некого. Волей-неволей смотришь на всех свысока, а они требуют к себе почтения; та же Света. И заметили, Родион, в наше время все аферисты! И именно у нас, в России, в нашей любимой стране. Как так вышло – ума не приложу. Казалось бы, все так прочно стояло, а что теперь? Об этом все говорят и пишут. Разоблачают. У нас только и делают, что разоблачают. Родители первые отступают от своих принципов и стыдятся прежней морали. Вон, в Москве, отец уговаривал сына ни перед чем не останавливаться ради денег; об этом даже в новостях писали. Посмотрите на моего дядю Сашу. Что из него вышло? Хотя, знаете, мне кажется, что дядя Саша честный человек; ей-богу, так! Просто у него в жизни бардак и он любит выпить. Ей-богу, так! Мне даже жаль его; боюсь об этом говорить, потому что все смеются; а мне, правда, жаль. И что в этих умниках? Все до единого – ростовщики! Игнат оправдывает ростовщичество, говорит, что так и надо, экономические циклы, какие-то приливы и отливы, чтоб их черти взяли. Меня это ужасно раздражает, но он озлоблен. Представьте, его мать, эта капитанша, берет деньги у дяди Саши и тут же выдает их ему под бешеные проценты; ужасно стыдно! А знаете, моя мама, то есть, мама Игната, Антонина Петровна, помогает Игнату деньгами, одеждой, бельем и всем необходимым, и даже его детям, через Игната, потому что он ими совсем не занимается. И Света тоже помогает.

– Вот видите, вы говорите, что нет честных и сильных людей, что все только и делают, что наживаются; а вот же они, сильные люди, ваша мать и Света. Разве помощь в такой ситуации – это не признак нравственной силы?

– Светка это делает из гордости, чтобы не отстать от матери; а мама действительно... я ее уважаю. Да, это я уважаю и одобряю. Даже Игнат это чувствует, а он почти совсем ожесточился. Сначала смеялся и говорил, что это все низость со стороны матери; но теперь иногда начинает понимать. Гм! Так вы это называете силой? Я это запомню. Алик не знает, а то бы назвал это потаканием слабостям.

– А Алик не знает? Алик, кажется, многого еще не знает, – вырвалось у задумавшегося Родиона.

– Знаете, Родион, вы мне очень нравитесь. Ваш поступок вчерашний все из головы не выходит.

– Да и вы мне очень нравитесь, Коля.

– Послушайте, как вы собираетесь здесь жить? Я скоро найду работу и буду зарабатывать, давайте жить вместе, я, вы и Игнат, снимем квартиру на троих; а дядю Сашу будем к себе приглашать.

– С огромным удовольствием. Но, впрочем, посмотрим. Я сейчас очень... очень растерян. Что? Приехали? В этом доме... какой шикарный подъезд! И консьерж. Ну, Коля, не знаю, что из этого выйдет.

Родион стоял как потерянный.

"Расскажете завтра! Вы не бойтесь. Удачи вам, я полностью разделяю ваши взгляды! Прощайте. Я вернусь и расскажу Ипполиту. Примут вас, не сомневайтесь! Она очень необычная. Поднимитесь по лестнице на первом этаже, консьерж покажет!"

ХIII.

Поднимаясь по лестнице, князь сильно волновался, пытаясь подбодрить себя: "Худшее, что может случиться, – думал он, – это то, что меня не примут, подумают обо мне плохо, или даже примут, но будут смеяться... Ничего страшного!" Это его не слишком пугало, но вопрос: "Что я там буду делать? Зачем иду?" – оставался без ответа. Если бы можно было, улучив момент, сказать Варваре Петровне: "Не выходите за него замуж, не губите себя, он вас не любит, ему нужны только ваши деньги. Мне об этом говорил сам Олег, и еще Алена Сергеевна, а я пришел вам это передать", – вряд ли это было бы правильно. Был и еще один вопрос, настолько важный, что князь боялся о нем думать, не мог даже допустить его, не смел формулировать, краснел и дрожал при одной мысли. Но, несмотря на все тревоги и сомнения, он все же вошел и спросил Варвару Петровну.

Квартира у Ирины Федоровны была не то чтобы огромная, но отделана с шиком, это факт. За те пять лет, что она жила в Питере, был период, когда Аркадий Петрович денег на нее не жалел. Он тогда еще надеялся ее очаровать, рассчитывал купить ее расположение комфортом и роскошью, зная, как быстро люди привыкают к хорошему и как сложно потом от этого отказываться, когда люкс постепенно становится необходимостью. В этом плане Зубов придерживался старых проверенных методов, безоговорочно веря во всепобеждающую силу чувственных удовольствий. Ирина Федоровна от роскоши не отказывалась, даже любила ее, но – и это казалось странным – не поддавалась ей, словно могла легко обойтись и без всего этого. Более того, несколько раз она даже давала понять, что ее это тяготит, что Зубова, конечно, раздражало. Впрочем, в Ирине Федоровне было много чего, что Аркадия Петровича раздражало (а со временем даже вызывало презрение). Не говоря уже о неизысканности тех людей, которых она иногда привечала, а значит, и была склонна привечать, в ней проглядывали и другие странные наклонности: какое-то варварское смещение вкусов, способность довольствоваться вещами и средствами, существование которых, казалось бы, приличному и утонченному человеку и в голову не придет. Например, если бы Ирина Федоровна вдруг проявила какое-нибудь милое и наивное незнание, вроде того, что сельские женщины не могут носить такое же белье из батиста, как она, Аркадий Петрович, кажется, был бы очень доволен. К этому, собственно, и сводилось первоначальное воспитание Ирины Федоровны по программе Зубова, который в этом деле считал себя знатоком. Но, увы, результаты оказались неожиданными. Тем не менее, в Ирине Федоровне было что-то такое, что иногда поражало даже самого Аркадия Петровича своей необыкновенной и захватывающей необычностью, какой-то силой, и привлекало его даже сейчас, когда все его прежние планы относительно Ирины Федоровны рухнули.

У входа князя встретила девушка (у Ирины Федоровны всегда работали только женщины) и, к его удивлению, спокойно выслушала его просьбу доложить о нем. Ни его грязные берцы, ни широкополая шляпа, ни куртка без рукавов, ни смущенный вид не произвели на нее ни малейшего впечатления. Она взяла у него куртку, предложила подождать в приемной и сразу же пошла докладывать о его приходе.

Сборище у Ирины Филиповны состояло из ее обычных приятелей. Даже многочисленно, если сравнивать с прошлыми ежегодными посиделками. Присутствовали, во-первых, и в главных ролях, Аркадий Петрович Зубов и Иван Игнатьевич Волков; оба учтивы, но с плохо скрываемой тревогой из-за обещанного заявления насчет Григория. Разумеется, был и

сам Григорий – угрюмый, задумчивый и совсем "нелюбезный", стоявший в стороне и молчавший. Свою Свету он не привез, да Ирина Филиповна и не спрашивала о ней; зато, поздоровавшись с Григорием, припомнила утреннюю сцену с князем. Генерал, не слышавший о ней, заинтересовался. Григорий сухо, сдержанно, но откровенно рассказал все, что произошло, и как он ходил к князю извиняться. Он высказал мнение, что князя зря назвали "ом", что он думает о нем иначе, и что этот человек себе на уме. Ирина Филиповна слушала внимательно и следила за Григорием, но разговор перешел на Соболева, участвовавшего в утренней истории, которым заинтересовались Аркадий Петрович и Иван Игнатьевич. Оказалось, что информацию о Соболеве мог предоставить Птицын, занимавшийся его делами до девяти вечера. Соболев настаивал на получении ста тысяч рублей сегодня. "Он был пьян, – заметил Птицын, – но сто тысяч, кажется, достанет, хоть это и трудно; работают многие: Кириллов, Трегубов, Белов; проценты дает какие угодно, спьяну и с радости..." Все новости были приняты с интересом, отчасти мрачным; Ирина Филиповна молчала, не желая говорить; Григорий тоже. Генерал Волков беспокоился больше всех: жемчуг, представленный утром, был принят холодно и с усмешкой. Только Федорчук был в веселом настроении и хохотал неизвестно чему, потому что сам навязал роль шута. Аркадий Петрович, известный как рассказчик, обычно управлявший разговором, был не в духе и в замешательстве. Остальные гости (старик-учитель, неизвестно зачем приглашенный, молодой человек, робевший и молчавший, дама лет сорока, из актрис, и красивая, богато одетая и молчаливая дама) не могли оживить разговор, и не знали, о чем говорить.

Прибытие Волкова оказалось даже кстати. Новость о нем вызвала замешательство и несколько странных ухмылок, особенно когда по изумленному лицу Светланы стало ясно, что она вовсе не собиралась его приглашать. Но, оправившись от удивления, Светлана вдруг проявила столько радости, что большинство тут же приготовилось встретить неожиданного гостя смехом и весельем.

– Это, допустим, из-за его наивности, – заключил Игорь Федорович Ерохин, – и в любом случае поощрять такие наклонности довольно опасно, но сейчас, право, неплохо, что он вздумал пожаловать, пусть и таким самобытным способом: он, возможно, нас развлечет, по крайней мере, насколько я могу о нем судить.

– Тем более, что сам напросился! – тут же вставил Федорченко.

– И что с того? – сухо спросил генерал, недолюбливавший Федорченко.

– А то, что заплатит за вход, – пояснил тот.

– Ну, Волков не Федорченко, все-таки, – не удержался генерал, до сих пор не смирившийся с мыслью находиться с Федорченко в одном обществе и на равных.

– Эй, генерал, пощадите Федорченко, – ответил тот, ухмыляясь. – Я ведь на особых правах.

– На каких это особых правах?

– В прошлый раз я имел честь подробно объяснить это обществу; для вашего превосходительства повторю еще раз. Видите ли, ваше превосходительство: у всех есть остроумие, а у меня нет остроумия. В качестве компенсации я и выпросил разрешение говорить правду, так как всем известно, что правду говорят только те, у кого нет остроумия. К тому же я человек очень злопамятный, и тоже потому, что без остроумия. Я обиду всякую покорно сношу, но до первой неудачи обидчика; при первой же неудаче, тут же припоминаю и тут же чем-нибудь мщу, лягаю, как выразился обо мне Иван Петрович Сеницын, который уж конечно сам никогда никого не лягает. Знаете поговорку, ваше превосходительство: "Сила есть – ума не надо"? Ну, вот это мы оба с вами и есть, про нас и сказано.

– Вы, кажется, опять врете, Федорченко, – вспыхнул генерал.

– Да вы чего, ваше превосходительство? – подхватил Федорченко, так и рассчитывавший, что можно будет подхватить и еще побольше размазать: – не беспокойтесь, ваше превосходитель-

тельство, я свое место знаю: если я и сказал, что мы с вами "Сила есть – ума не надо", то роль "ума не надо" я, уж конечно, беру на себя, а ваше превосходительство – "Сила есть", как и в поговорке сказано.

– С последним я согласен, – неосторожно вырвалось у генерала. Все это было, конечно, грубо и преднамеренно сделано, но так уж принято было, что Федорченко позволялось играть роль шута.

– Да меня только для того и держат тут, – вдруг выпалил Фердыщенко, – чтобы я именно в таком духе и высказывался! Ну, скажите на милость, разве можно такого, как я, в приличном обществе терпеть? Я же сам все прекрасно понимаю. Ну, разве можно меня, такого вот Фердыщенка, рядом с таким изысканным джентльменом, как Афанасий Иванович, за один стол сажать? Тут только одно объяснение напрашивается: меня и держат тут именно потому, что это представить себе невозможно.

Но хоть и грубо он выражался, зато порой бывал очень даже язвителен, а иногда даже чересчур, и вот это-то, кажется, Настасье Филипповне и нравилось. Всем, кто хотел у нее бывать, приходилось мириться с обществом Фердыщенко. Он, возможно, и правду говорил, когда предполагал, что его стали принимать именно потому, что с первого же раза его присутствие стало невыносимым для Тоцкого. Ганя, со своей стороны, натерпелся от него целую кучу неприятностей, и в этом отношении Фердыщенко оказался очень полезен Настасье Филипповне.

– А князь у меня с того и начнет, что модный трек запоет, – заключил Фердыщенко, поглядывая на реакцию Настасьи Филипповны.

– Не думаю, Фердыщенко, и, пожалуйста, не горячитесь, – сухо ответила она.

– А-а! Если он под особым покровительством, то я смягчаюсь...

Но, не слушая его, встала и сама пошла встречать князя.

– Я сожалела, – сказала она, внезапно появившись перед ним, – что в спешке забыла пригласить вас к себе, и очень рада, что вы сами предоставили мне возможность поблагодарить и похвалить вас за вашу решимость.

Говоря это, она внимательно всматривалась в князя, пытаясь хоть как-то понять мотивы его поступка.

Князь, возможно, и ответил бы что-нибудь на ее любезные слова, но был настолько ослеплен и поражен, что не мог даже вымолвить ни слова. заметила это с удовольствием. В этот вечер она была одета с иголочки и производила невероятное впечатление. Она взяла его за руку и повела к гостям. Перед самым входом в гостиную князь вдруг остановился и с необыкновенным волнением, торопливо прошептал ей:

– В вас все совершенно... даже то, что вы худы и бледны... вас и не хочется представлять другой... Мне так захотелось к вам прийти... я... простите...

– Не просите прощения, – засмеялась, – этим нарушится вся странность и необычность. А правда, стало быть, про вас говорят, что вы человек странный. Так вы, стало быть, меня за совершенство почитаете, да?

– Да.

– Вы хоть и мастер угадывать, однако же ошиблись. Я вам сегодня же об этом напому... .

Она представила князя гостям, большая часть которых уже была с ним знакома. Тоцкий тут же отпустил какую-то любезность. Все как будто немного оживились, разом заговорили и засмеялись. усадила князя рядом с собой.

– Но, однако, что же удивительного в появлении князя? – заорал громче всех Фердыщенко. – Дело ясное, как день! Все очевидно!

– Тут и так всё ясно, – вдруг вмешался молчавший до этого Гоша. – Я за Ярославом сегодня глаз не спускал, с того самого момента, как он впервые взглянул на фото Вероники

Филипповны, что у Ивана Федоровича на столе лежала. Я тогда еще подумал кое о чем, и теперь в этом уверен, да и Ярослав сам мне, между прочим, признался.

Гоша произнес это очень серьезно, без тени шутки, даже мрачно, что показалось странным.

– Я тебе ничего не говорил, – покраснев, ответил Ярослав, – я просто ответил на твой вопрос.

– Bravo, bravo! – заорал Фердыщенко. – Зато честно! И хитро, и честно!

Все громко засмеялись.

– Да не ори ты, Фердыщенко, – с отвращением тихо сказал Птицын.

– Я, Ярослав, от тебя такого не ожидал, – протянул Иван Федорович. – Да знаешь ли, кому это на руку будет? А я-то тебя за умного считал! Тихоня!

– А судя по тому, что Ярослав краснеет от невинной шутки, как гимназистка, я делаю вывод, что он, как порядочный молодой человек, питает в своем сердце самые достойные намерения, – вдруг неожиданно прошамкал беззубый семидесятилетний старичок-преподаватель, от которого никто не ждал, что он вообще заговорит. Все снова засмеялись. Старичок, решив, что смеются его остроумию, стал смеяться еще громче, глядя на всех, и тут же сильно закашлялся. Вероника Филипповна, которая почему-то очень любила всяких таких старичков, старушек и даже городских сумасшедших, тут же принялась его успокаивать, расцеловала и велела подать ему еще чаю. Она попросила у вошедшей горничной шаль, закуталась в нее и приказала подбросить дров в камин. На вопрос, который час, горничная ответила, что уже пол-одиннадцатого.

– Господа, шампанского не желаете? – вдруг предложила Вероника Филипповна. – У меня приготовлено. Может, вам повеселее станет. Пожалуйста, без стеснения.

Предложение выпить, да еще в такой наивной форме, показалось странным от Вероники Филипповны. Все помнили ее прежние вечера, всегда чопорные. В общем, вечер становился веселее, но как-то необычно. От вина, однако, не отказались. Сначала генерал, потом бойкая дама, старичок, Фердыщенко, а за ними и все остальные. Тоцкий тоже взял бокал, надеясь сгладить новый тон, придав ему характер милой шутки. Один только Гоша ничего не пил. В странных, иногда резких и быстрых выходках Вероники Филипповны, которая тоже взяла вина и заявила, что сегодня выпьет три бокала, в ее истерическом и беспричинном смехе, сменяющемся вдруг молчаливой и даже угрюмой задумчивостью, трудно было что-либо понять. Некоторые подозревали у нее жар; стали замечать, что она как будто чего-то ждет, часто смотрит на часы, становится нетерпеливой, рассеянной.

– У вас будто температура? – участливо спросила полная дама.

– Да не будто, а точно есть, потому и укуталась, – ответила Ирина Сергеевна, и вправду побледневшая и словно сдерживающая озноб.

Все забеспокоились.

– Может, дадим хозяйке отдохнуть? – предложил Зубов, поглядывая на Кирилла Андреевича.

– Ни в коем случае, господа! Прошу вас остаться. Ваше присутствие сегодня особенно важно, – настойчиво заявила Ирина Сергеевна. Поскольку почти все знали о назначенном на вечер важном решении, ее слова прозвучали весомо. Генерал и Зубов обменялись взглядами, Гоша нервно дернулся.

– Может, сыграем во что-нибудь? – предложила полная дама.

– Я знаю отличную игру, – подхватил Кольцов, – уникальную. По крайней мере, такое было однажды, и то не вышло.

– Что за игра? – спросила дама.

– Мы как-то собрались, выпили, и кому-то пришлось в голову, чтобы каждый рассказал о самом мерзком поступке в своей жизни. Но главное – искренне! Без вранья!

– Странно, – сказал генерал.

– Тем и интересно.

– Забавно, – сказал Зубов, – хотя понятно: хвастовство наоборот.

– Может, это то, что нам нужно, Афанасий Иванович?

– С такой игрой скорее заплачешь, чем засмеешься, – заметила дама.

– Бессмыслица, – отозвался Сомов.

– И что, получилось? – спросила Ирина Сергеевна.

– Вот именно, что нет. Все что-то рассказали, многие правду. Представляете, некоторым даже понравилось! Но потом всем стало стыдно, не выдержали! Но в целом было весело, по-своему.

– А ведь это неплохо! – вдруг оживилась Ирина Сергеевна. – Стоит попробовать! Нам скучно. Если бы каждый рассказал что-нибудь... в этом духе... конечно, добровольно, а? Может, мы выдержим! Необычно...

– Гениально! – подхватил Кольцов. – Дамы не участвуют, начинают мужчины. Жребий, как и тогда! Обязательно! Кто не хочет, может не рассказывать, но это невежливо! Давайте жребии, господа, сюда, в шляпу, князь вытянет. Задача простая: рассказать о самом мерзком поступке в жизни – это легко! Увидите! Если кто забудет, я напомню!

Идея явно не вызвала энтузиазма. Кто-то нахмурился, другие криво усмехнулись. Возражения были, но вялые – особенно от Ивана Петровича, не желавшего перечить Ирине Викторовне и заметившего, как она увлеклась этой странной затеей. Ирина Викторовна в своих желаниях всегда была непреклонна и безжалостна, если решалась их озвучить, даже если это были самые нелепые и бесполезные прихоти. Сейчас она была словно в лихорадке, металась, смеялась нервно, судорожно, особенно реагируя на возражения встревоженного Зубова. Темные глаза сверкали, на бледных щеках проступил яркий румянец. Скучающие и брезгливые лица некоторых гостей, возможно, еще больше подстегивали ее насмешливое настроение; возможно, ей нравилась циничность и жестокость этой затеи. Некоторые даже были уверены, что у нее тут какой-то скрытый мотив. Впрочем, многие начали соглашаться: в любом случае, это было любопытно, а для многих – весьма заманчиво. Федорчук суетился больше всех.

– А если что-нибудь такое... что и рассказать при дамах невозможно? – робко заметил молчавший до этого молодой человек.

– Так и не рассказывайте! Будто мало и без того гадких поступков, – отмахнулся Федорчук, – Эх, вы, молодежь!

– А я вот и не знаю, какой из моих поступков самым мерзким считать, – встряла бойкая дама.

– Дамы освобождаются от обязанности рассказывать, – повторил Федорчук, – но только освобождаются; собственное вдохновение приветствуется. Мужчины же, если совсем уж не хотят, могут отказаться.

– Но как доказать, что я не вру? – спросил Гоша. – А если совру, то вся суть игры теряется. И кто не соврет? Все обязательно будут врать.

– Да уже одно то заманчиво, как человек будет выкручиваться. Тебе, Гошенька, особенно бояться нечего, твой самый гнусный поступок и так всем известен. Да вы подумайте только, господа, – вдруг воскликнул Федорчук с каким-то вдохновением, – подумайте, как мы потом друг другу в глаза будем смотреть, завтра, например, после этих откровений!

– Это вообще возможно? Неужели это все серьезно, Ирина Викторовна? – с достоинством спросил Зубов.

– Волков бояться – в лес не ходить! – с усмешкой ответила Ирина Викторовна.

– Но позвольте, господин Федорчук, разве можно из этого устроить вечеринку? – продолжал тревожиться Зубов, – уверяю вас, такие вещи никогда не срабатывают; вы же сами говорите, что это уже однажды провалилось.

– Как провалилось? Я же в прошлый раз рассказал, как три тысячи украл, взял и рассказал!

– Допустим. Но ведь не было никакой возможности рассказать так, чтобы это звучало правдоподобно и тебе поверили? А Гоша Ардалионович совершенно справедливо заметил, что чуть только послышится фальшь, и вся суть игры исчезает. Правда возможна только случайно, при особом хвастливом настроении, что было бы здесь совершенно неуместно и неприлично.

– Да вы просто эстет, Афанасий Игнатьевич, даже меня поражаете! – воскликнул Фердыщенко. – Представляете, господа, своим замечанием о том, что я не смог рассказать о краже убедительно, Афанасий Игнатьевич тонко намекает, что я и не мог украсть (говорить вслух об этом неприлично), хотя сам уверен, что Фердыщенко вполне способен! Но к делу, господа, к делу! Жребии собраны, и вы, Афанасий Игнатьевич, свой положили, значит, никто не отказывается! Кирилл, тяните.

Кирилл молча опустил руку в кепку и вынул первый жребий – Фердыщенко, второй – Птицына, третий – генерала в отставке, четвертый – Афанасия Игнатьевича, пятый – свой, шестой – Гавриила и так далее. Дамы в жеребьевке не участвовали.

– О, ужас, какое невезение! – завопил Фердыщенко. – Я думал, первый жребий выпадет Кириллу, а второй – генералу. Но, слава богу, хоть Иван за мной, будет мне утешение. Ну, господа, я обязан показать пример, но жаль, что я такой незначительный и ничем не примечательный. Даже должность у меня самая мелкая. Что интересного в том, что Фердыщенко совершил гадкий поступок? Да и какой мой самый мерзкий поступок? Тут прямо выбор из множества. Разве опять про ту же кражу рассказать, чтобы убедить Афанасия Игнатьевича, что можно украсть, не будучи вором?

– Вы убеждаете меня, господин Фердыщенко, что можно получать удовольствие, рассказывая о своих грязных делишках, даже если об этом никто не просит... Впрочем... Извините, господин Фердыщенко.

– Начинайте, Фердыщенко, вы ужасно много болтаете и никогда не закончите! – раздраженно приказала.

Все заметили, что после недавнего приступа смеха она стала угрюмой, ворчливой и раздражительной, но упрямо настаивала на своей нелепой затее. Афанасий Игнатьевич страдал. Бесил его и Иван Федорович: тот сидел за шампанским, как ни в чем не бывало, и, возможно, планировал рассказать что-нибудь в свою очередь.

XIV.

– Нет у меня остроумия, , поэтому и болтаю! – воскликнул Фердыщенко, начиная рассказ. – Было бы у меня такое остроумие, как у Афанасия Игнатьевича или у Ивана Федоровича, я бы молчал, как Афанасий Игнатьевич и Иван Федорович. Кирилл, как вы думаете, мне кажется, что воров на свете больше, чем честных людей, и нет такого честного человека, который бы хоть раз в жизни чего-нибудь не украл. Это моя мысль, но я не считаю, что все воры, хотя иногда очень хочется так думать. Что скажете?

– Фу, как глупо рассказываете, – ответила Дарья Алексеевна. – Какой вздор! Не может быть, чтобы все воровали. Я никогда ничего не краля.

– Вы никогда ничего не присваивали, Дарья Алексеевна, но что подумает Арсений, вон как залился краской?

– Мне кажется, вы говорите искренне, но сильно сгущаете краски, – заметил Арсений, и правда немного порозовев.

– А вы сами, Арсений, ничего не прикарманивали?

– Фу, какая глупость! Придите в себя, Родион! – возмутился генерал.

– Просто как есть, как дошло до дела, так и стыдно стало рассказывать, вот и хотите Арсения к себе привязать, зная его безотказность, – отрезала Дарья Алексеевна.

– Родион, или говорите, или молчите и знайте свое место. Вы испытываете мое терпение, – резко и с раздражением произнесла Инна Филипповна.

– Сию минуту, Инна Филипповна, но если Арсений признался, потому что я уверен, что он почти признался, то что бы сказал кто-нибудь другой (не будем показывать пальцем), если бы захотел когда-нибудь сказать правду? Что касается меня, господа, то дальше и рассказывать нечего: все очень просто, глупо и мерзко. Но уверяю вас, я не вор, украл, сам не знаю как. Это было года три назад, на даче у Семена Игоревича Щербакова, в воскресенье. У него был званный обед. После обеда мужчины остались выпивать. Мне вдруг захотелось попросить Марию Семеновну, его дочь, девушку, что-нибудь сыграть на рояле. Прохожу через угловую комнату, на рабочем столе у Марии Ивановны лежат три тысячи рублей, купюра зеленого цвета: она ее достала, чтобы отдать кому-то по хозяйству. В комнате ни души. Я взял купюру и положил в карман, зачем – не знаю. Что на меня нашло – не понимаю. Тут же вернулся и сел за стол. Я все сидел и ждал, сильно волнуясь, болтал без умолку, травил анекдоты, смеялся, потом подсел к дамам. Примерно через полчаса хватились и стали спрашивать у горничных. Под подозрение попала Даша. Я проявил необыкновенное любопытство и участие, и даже помню, когда Даша совсем растерялась, стал убеждать ее признаться, ручаясь головой за доброту Марии Ивановны, и это вслух, при всех. Все смотрели, а я испытывал необыкновенное удовольствие именно оттого, что я проповедую, а купюра-то у меня в кармане. Эти три тысячи я в тот же вечер спустил в ресторане. Зашел и заказал бутылку дорогого вина, никогда до этого я не заказывал просто бутылку, без закуски, захотелось поскорее потратить. Особых угрызений совести я ни тогда, ни потом не испытывал. В другой раз точно не повторил бы, верьте или нет, мне все равно. Ну вот, собственно, и все.

– Конечно, это не самый отвратительный ваш поступок, – с неприязнью сказала Дарья Алексеевна.

– Это скорее психологический этюд, чем поступок, – заметил Афанасий Игоревич.

– А горничная? – спросила Инна Филипповна, не скрывая презрения.

– А горничную выгнали на следующий же день, разумеется. Там строгие порядки.

– И вы допустили?

– Ну, просто великолепно! Неужели я должен был пойти и донести на самого себя? – захихикал вдруг Денис, хотя и был немного ошарашен неприятным впечатлением от своей истории.

– Как это мерзко! – воскликнула Ангелина.

– Подумаешь! Вы хотите услышать самый отвратительный поступок человека, но при этом требуете, чтобы он сверкал! Самые гнусные дела всегда грязные, сейчас мы это от Глеба услышим. Да и мало ли что снаружи блестит и кажется добродетелью, потому что у человека свой "Мерседес". Мало ли у кого есть своя машина... И какими способами она досталась...

Короче говоря, Денис совершенно потерял контроль и вдруг разозлился, забыв о приличиях, перешел все границы. Даже лицо его перекошилось. Как ни странно, он, возможно, ожидал совсем другой реакции на свой рассказ. Эти "промахи" дурного тона и "хвастовство особаго рода", как выразился о нем Тихон, случались с Денисом довольно часто и были в его духе.

Ангелина даже вздрогнула от гнева и пристально посмотрела на Дениса. Тот сразу струсил и замолчал, чуть не побледнев от испуга: слишком далеко зашел.

– Может, закончим этот балаган? – лукаво спросил Аркадий.

– Моя очередь, но я воспользуюсь своим правом и не буду рассказывать, – твердо сказал Руслан.

– Вы не хотите?

– Не могу, Ангелина. Да и вообще считаю это непристойным.

– Кажется, очередь за вами, Игорь Сергеевич, – обратилась к нему Ангелина. – Если и вы откажетесь, то у нас все пойдет наперекосяк, и мне будет жаль, потому что я хотела рассказать

в заключение одну историю "из моей собственной жизни", но только после вас и Аркадия, потому что вы должны меня поддержать, – заключила она, усмехнувшись.

– О, если и вы пообещаете, – с жаром воскликнул Игорь Сергеевич, – то я готов рассказать вам всю свою жизнь! Но я, признаюсь, ожидая своей очереди, уже приготовил анекдот...

– Уже по одному виду Игоря Сергеевича можно понять, с каким особым литературным удовольствием он обработал свой анекдот, – осмелился заметить все еще смущенный Денис, ядовито улыбаясь.

Ангелина мельком взглянула на генерала и тоже про себя улыбнулась. Но было видно, что тоска и раздражение в ней усиливаются. Аркадий испугался вдвойне, услышав про обещанный рассказ.

– Знаете, господа, – начал генерал негромко, – как и у каждого из нас, в моей жизни случались поступки, скажем так, не самые достойные. Но что удивительно, именно одна короткая история, которую я вам сейчас расскажу, кажется мне самой мерзкой из всего, что я когда-либо совершал. И ведь прошло уже почти тридцать пять лет, а я до сих пор не могу отделаться от неприятного ощущения, будто кто-то скребет когтями по сердцу. Впрочем, история до смешного глупая. Я тогда был совсем зеленым лейтенантом, только-только из училища, служил где-то в глуши. Ну, сами знаете, лейтенант – кровь кипит, а денег – кот наплакал. Завелся у меня тогда денщик, Никифор. Уж он-то о моем хозяйстве пекся, как о своем собственном! Копил, зашивал, чистил, драил, и даже воровал все, что плохо лежало, лишь бы в доме добро приумножить. Верный был человек, честнейший! Я, конечно, строг с ним был, но всегда справедлив.

Некоторое время стояли мы в небольшом городке. Мне выделили квартиру на окраине, в доме у одной отставной подполковницы, вдовы к тому же. Лет ей было, наверное, около восьмидесяти, если не больше. Старушка совсем ветхая, домик у нее был старый, деревянный, покосившийся, даже служанки не держала – бедствовала. Но главное, чем она отличалась, – когда-то у нее была огромная семья, куча родных. Но одни умерли, другие разъехались, третьи про нее забыли, а мужа она похоронила лет сорок пять назад. Жила с ней еще племянница, горбатая и злая, говорили, как ведьма, даже укусила старуху за палец однажды, но и та померла. Так что старуха года три уже одна-одинешенька доживала. Скучно мне у нее было, да и глупая она какая-то, ничего интересного не расскажет. И вот однажды украла она у меня петуха. Дело это до сих пор темное, но кроме нее некому было. Из-за этого петуха мы сильно поссорились, а тут как раз подвернулся случай, меня, по моей же просьбе, перевели на другую квартиру, в противоположный конец города, в большую семью одного купца с огромной бородой, как сейчас его вижу. Переезжаем мы с Никифором с радостью, а старуху оставляем с негодованием.

Проходит дня три. Прихожу я с учений, Никифор докладывает: "Зря, ваше благородие, нашу миску у прежней хозяйки оставили, не в чем суп подавать". Я, разумеется, поражен: "Как так? Каким образом наша миска у хозяйки осталась?" Удивленный Никифор продолжает рапортовать, что хозяйка, когда мы съезжали, нашу миску ему не отдала, потому что я, якобы, ее любимый горшок разбил, и она за этот горшок нашу миску удерживает, и что будто бы я ей это сам предложил. Такая низость с ее стороны, конечно, вывела меня из себя. Кровь закипела, я вскочил и полетел к ней. Прихожу к старухе, вне себя от ярости. Смотрю, сидит она в сенях одна-одинешенька, в углу, будто от солнца прячется, рукой щеку подперла. Я тут же на нее накинулся, начал кричать, обзывать, "такая, дескать, ты и сякая!" Ну, знаете, как мы, русские, умеем. Смотрю, что-то странное происходит: сидит она, лицо на меня уставила, глаза выпучила, и ни слова в ответ, и смотрит как-то странно, будто качается. Я, наконец, притих, вглядываюсь, спрашиваю, – ни слова в ответ. Постоял я в нерешительности. Мухи жужжат, солнце садится, тишина. В полном смятении я ухожу. Еще до дома не дошел, как меня к майору вызвали, потом в роту пришлось зайти, так что домой вернулся совсем вечером. Первым делом Никифор мне говорит: "А знаете, ваше благородие, хозяйка-то наша ведь померла". – "Когда?"

– "Да сегодня вечером, часа полтора назад". Это, значит, в то самое время, когда я ее ругал, она и умирала.

Меня это так поразило, что я едва опомнился. Даже ночью приснилось. Я, конечно, без предрассудков, но на третий день пошел в церковь на похороны. Одним словом, чем дальше время идет, тем больше я об этом думаю. Не то чтобы, а так, иногда вспомнишь, и становится не по себе. Главное, что тут, как я, наконец, рассудил? Во-первых, женщина, так сказать, существо человеческое, что сейчас называют "гуманное", жила, долго жила, наконец, дожила. Когда-то у нее были дети, муж, семья, родные, все это вокруг нее, так сказать, кипело, все эти, так сказать, улыбки, и вдруг – полный крах, все рухнуло, осталась одна, как... муха какая-нибудь, несущая на себе проклятие. И вот, наконец, привел Бог к концу. С закатом солнца, в тихий летний вечер улетает и моя старуха. Конечно, тут не без поучительной мысли. И вот в это-то самое мгновение, вместо напутственной слезы, молодой, отчаянный лейтенант, задрав нос, провожает ее с поверхности земли русским матом за пропавшую миску! Без сомнения, я виноват, и хоть я уже давно смотрю на свой поступок, по прошествии лет и по изменению моего характера, как на чужой, но тем не менее продолжаю жалеть. Так что, повторяю, мне даже странно, тем более, что если я и виновен, то ведь не полностью же: зачем же ей именно в это время вздумалось умирать? Разумеется, тут одно оправдание: что поступок в некотором роде психологический, но все-таки я не мог успокоиться, покамест не завел, лет пятнадцать назад, двух постоянных больных старушек на свой счет в доме престарелых, чтобы смягчить для них достойным содержанием последние дни их жизни. Думаю сделать это вечным, завещав капитал. Ну, вот и все. Повторяю, что, может быть, я и во многом в жизни провинился, но этот случай считаю, по совести, самым мерзким поступком из всей моей жизни.

– И вместо самой гнусной истории, ваше сиятельство, поведали один из самых пристойных эпизодов своей биографии; обвели вокруг пальца этого Борщова! – подытожил Борщов.

– Право, Игорь Сергеевич, я и не думала, что в вас все-таки есть что-то человеческое; даже как-то неловко, – равнодушно бросила Марина.

– Неловко? Отчего же? – полюбопытствовал генерал с довольной ухмылкой и не без гордости отхлебнул игристого.

Но настала очередь у Аркадия Николаевича, который тоже приготовился. Все понимали, что он не упустит случая, как этот Иван Денисович, да и его повествования, по некоторым соображениям, ждали с особым интересом и вместе с тем поглядывали на Марину. С исключительным апломбом, вполне соответствовавшим его внушительной комплекции, спокойным, приятным тоном начал Аркадий Николаевич один из своих "забавных случаев". (К слову сказать: человек он был собой представительный, статный, высокого роста, слегка лысоват, с небольшой сединой, и довольно полный, с мягкими, розовыми и немного обвислыми щеками, с вставными протезами. Одевался свободно и со вкусом и носил безупречное белье. На его пухлые, белые руки хотелось смотреть не отрываясь. На указательном пальце правой руки красовался дорогой бриллиантовый перстень.) Марина на протяжении всего его рассказа внимательно изучала кружевную отделку на своем рукаве и теребила ее двумя пальцами левой руки, так что ни разу не удостоила взглядом рассказчика.

– Знаете, что облегчает мне задачу более всего, – начал Афанасий Иванович, – это необходимость рассказать о самом скверном поступке в моей жизни. Тут уж не приходится колебаться: совесть и память подскажут, что именно нужно вспомнить. Признаюсь, среди всех моих легкомысленных и ветреных поступков есть один, который слишком тяжело отпечатался в памяти.

Это случилось лет двадцать назад. Я приехал в деревню к Платону Ордынцеву. Его только избрали главой района, и он приехал с молодой женой провести зимние праздники. Как раз тогда родилась Анфиса Алексеевна, и планировались два бала. В то время был в моде роман Дюма-сына "Дама с камелиями". Все дамы были в восторге, по крайней мере, те, кто читал.

Прелесть рассказа, необычность главной героини, мир, разобранный до мелочей, и все эти очаровательные детали, например, об использовании белых и розовых камелий, произвели впечатление. Цветы камелий вошли в моду. Все их искали.

Много ли камелий можно достать в уезде, когда все их спрашивают для балов? Петя Ворховской страдал по Анфисе Алексеевне. Не знаю, было ли у него что-нибудь серьезное. Бедняга сходил с ума, чтобы достать камелии для Анфисы Алексеевны на бал. Графиня Соцкая, гостя губернаторши из Петербурга, и Софья Беспалова, как стало известно, приедут с белыми букетами. Анфисе Алексеевне захотелось красных для особого эффекта. Бедного Платона чуть не загнобили. Он пообещал достать букет, но накануне его перехватила Катерина Александровна Мытищева, соперница Анфисы Алексеевны. Разумеется, истерика, обморок. Платон пропал.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «Литрес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на Литрес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.